

ТАИСИЯ ЗАРЕЦКАЯ

ПАНСИОНАТ
«БЕЛАЯ
СИРЕНЬ»

МИСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР

Таисия Зарецкая

Пансионат "Белая сирень"

«Автор»

2026

Зарецкая Т.

Пансионат "Белая сирень" / Т. Зарецкая — «Автор», 2026

В феврале в кабинете психолога Софьи Андреевны Горчаковой внезапно пахнет сиренью. Цветов рядом нет, окно закрыто, весна ещё далеко. А вскоре приходит письмо без подписи с просьбой приехать в закрытый элитный пансионат «Белая сирень», расположенный в старой дворянской усадьбе Годуновых-Черкасских. Сначала всё кажется странным, но объяснимым: пожилые постояльцы, нарушения памяти, тревожные слухи, старый дом с тяжёлой историей. Но чем дольше Софья остаётся в пансионате, тем яснее понимает: здесь вспоминают не только люди. Прошлое словно проступает из стен, зеркал, подземной воды и зимнего запаха цветущей сирени. Когда-то в этой усадьбе был приют для девочек. Теперь дом снова открывает двери, которые считались закрытыми, а Софье предстоит узнать, почему её собственная семейная история связана с этим местом. «Пансионат Белая сирень» — атмосферный мистический триллер о старой усадьбе, семейных тайнах, и прошлом, которое однажды приходит за теми, кто слишком долго заставлял его молчать.

© Зарецкая Т., 2026

© Автор, 2026

Содержание

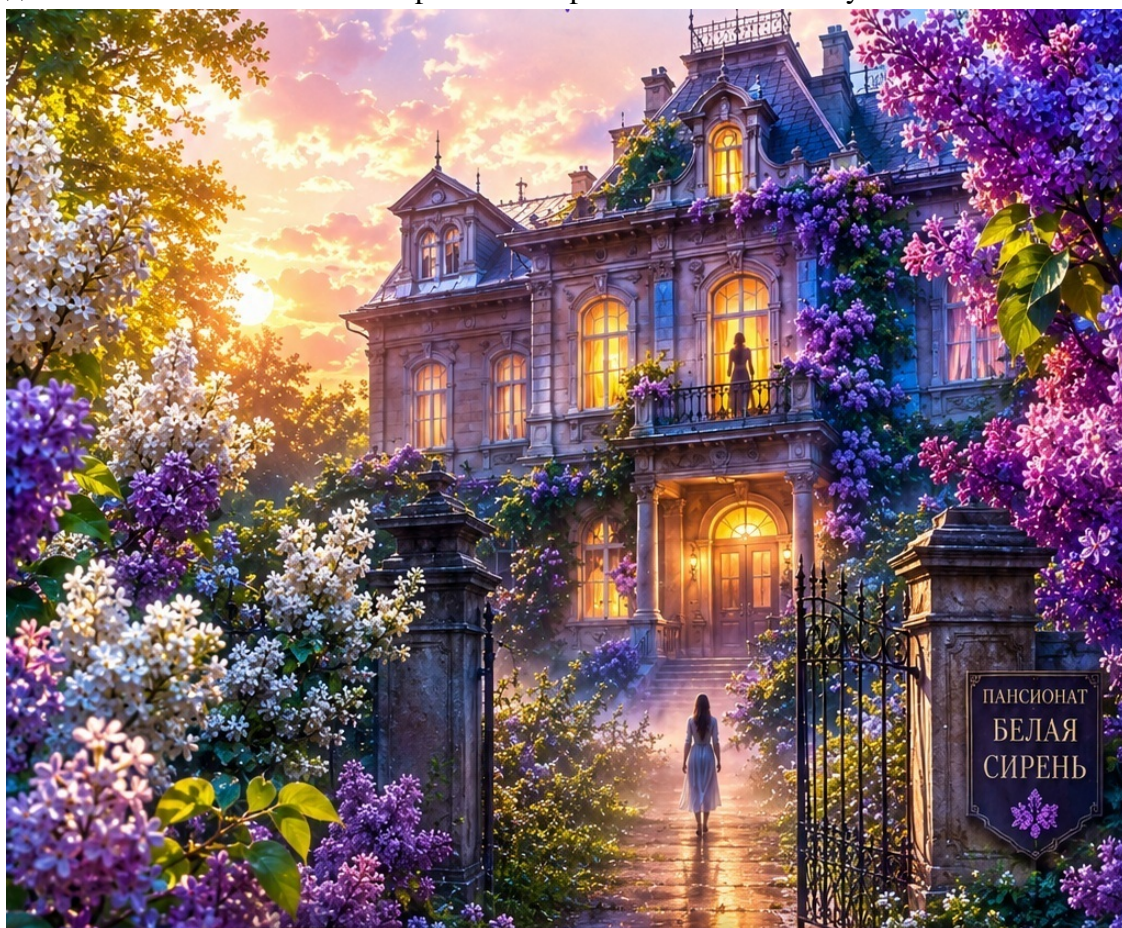
Пролог	5
Глава 1. Письмо без подписи	6
Глава 2. Дорога через мёртвый сад	12
Глава 3. Директор Верещагин	20
Глава 4. Белая гостиная	30
Глава 5. «Она снова пришла за своими детьми»	41
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Пансионат "Белая сирень"

Пролог

Позже Софья Андреевна Горчакова будет вспоминать, что всё началось не с письма, а с запаха сирени в феврале. Он появился внезапно, тонко и почти ласково, в закрытом кабинете, где не было ни цветов, ни открытого окна, ни причины для весны. Этот запах не пугал сразу; наоборот, в нём было что-то обманчиво нежное, как в старой семейной фотографии, на которой все ещё улыбаются, хотя тот, кто смотрит на неё спустя годы, уже знает: за этим мгновением начнётся совсем другая история.

В тот вечер Софья ещё не знала, что есть дома, которые не просто стоят на земле, а ждут. Ждут людей с нужной фамилией, нужной памятью, нужной трещиной в прошлом. Ждут, пока кто-нибудь откроет письмо без подписи, узнает на старой фотографии почти стёртый штамп и впервые почувствует, что чужая тайна почему-то касается его собственной жизни. Пансионат «Белая сирень» ещё был для неё всего лишь названием, бывшей усадьбой за городом, красивым фасадом на сайте и несколькими странными строками на плотной бумаге.



Но в самой усадьбе уже шевелилась память. Под снегом спали корни сирени, в старых стенах держался влажный холод, зеркала отражали не только тех, кто проходил мимо, а вода под домом, казалось, давно знала имена, которые люди пытались забыть. И когда Софья наконец приедет туда, ей останется понять главное: некоторые двери открываются тогда, когда прошлое узнаёт того, кто пришёл.

Глава 1. Письмо без подписи



Письмо пришло в тот час, когда в кабинете Софьи Андреевны Горчаковой уже начинали гаснуть звуки дня, но ещё не наступала настоящая тишина, та глубокая вечерняя тишина старых московских домов, в которой даже скрип половиц кажется не случайностью, а продолжением чужого, давно оборванного разговора. За окном медленно темнел февраль; снег, весь

день лежавший на подоконниках рыхлыми серыми шапками, к вечеру стал плотнее и синее, будто город незаметно накрыли тяжёлой простынёй, под которой ему предстояло дышать до утра. Внизу, на улице, редкие машины тянули по мокрому асфальту шуршащие следы, и их фары, отражаясь в стекле, на мгновение превращали кабинет в аквариум, где книги, кресла, тяжёлые шторы и сама Софья Андреевна казались предметами, опущенными на дно чужой, холодной воды.

Последний клиент ушёл пятнадцать минут назад, оставив после себя привычный беспорядок человеческого присутствия: слегка сдвинутое кресло, смятую салфетку в корзине, недопитый стакан воды на низком столике и то особенное напряжение в воздухе, которое Софья давно научилась узнавать почти физически. Люди приносили в её кабинет то, что не помещалось в их собственных домах, браках, телах и биографиях, и уходили обычно немного легче, но стены, казалось, какое-то время ещё удерживали их страхи, жалобы, невысказанные слова, детские обиды, взрослую усталость и тихую, почти стыдливую надежду, что прошлое можно если не исправить, то хотя бы назвать своим именем.

Софья сняла очки, потеряла переносицу и посмотрела на электронный календарь, где завтрашний день уже был заполнен чужими кризисами аккуратно, по часам, словно человеческая боль действительно могла существовать в удобных слотах по пятьдесят минут. В половине десятого у неё была женщина, которая не могла перестать проверять, живы ли её взрослые дети; в одиннадцать — мужчина, переживший развод так, будто у него отняли не жену, а доказательство собственного существования; после обеда — подросток с матерью, которая говорила за него слишком быстро и слишком много, не замечая, что сын давно научился исчезать прямо рядом с ней. Обычный день, если слово «обычный» вообще подходило к профессии, где каждый человек входил в дверь с лицом взрослого, а говорил чаще всего голосом ребёнка, которого когда-то не слышали.

Письмо лежало среди рекламных буклетов, квитанций и двух толстых конвертов от издательства, приславшего ей на рецензию очередной сборник о психологии старения. Белый конверт, плотный, матовый, без марки и почтового штемпеля, с её именем, выведенным чернилами так старомодно и медленно, что Софья не сразу поняла, почему именно на нём задержался взгляд. Сейчас почти никто не писал от руки, тем более не писал так, с заметным нажимом на заглавных буквах и лёгкой дрожью в окончаниях, словно человек, выводивший строки, не просто подписывал адрес, а преодолевал сопротивление бумаги.

«Софье Андреевне Горчаковой», — было написано на лицевой стороне, без названия клиники, без улицы, без города, как будто тот, кто принёс конверт, знал не только кабинет, но и час, когда она останется одна.

Она взяла письмо в руки и почувствовала едва уловимый запах, который сначала показался ей запахом старого шкафа, влажной бумаги и чего-то лекарственного, но через мгновение в нём проступила другая нота, неожиданная, почти невозможная в феврале, — тонкая сладость сирени. Софья даже усмехнулась этой странности, потому что её разум, привыкший искать объяснения прежде, чем позволять себе тревогу, тут же предложил несколько бытовых версий: ароматизированная бумага, чья-то парфюмерия, случайная ассоциация, усталость после длинного дня, когда мозг начинает доставать из памяти запахи, голоса и лица, не спрашивая разрешения.

И всё же пальцы её чуть медленнее обычного разорвали край конверта.

Внутри лежал один лист, сложенный втрое. Бумага была плотной, желтоватой, не офисной, а такой, какую покупают люди, любящие производить впечатление или слишком сильно привязанные к исчезающим формам вежливости. Текст занимал всего несколько строк.

«Уважаемая Софья Андреевна.

В пансионате “Белая сирень” происходят события, которые нельзя больше объяснять возрастом, болезнями и случайностью. Люди умирают спокойно, почти незаметно, но перед смертью каждый из них произносит одни и те же слова.

«Она снова пришла за своими детьми».

Я прошу Вас приехать как можно скорее. Официально — для оценки психологического состояния постояльцев. Неофициально — чтобы услышать то, что здесь слишком долго заставляли забывать.

Они начали вспоминать».

Подписи не было.

Софья прочитала письмо один раз, затем второй, уже медленнее, задерживаясь на словах, которые казались не столько написанными, сколько оставленными на бумаге после какого-то внутреннего усилия. В них не было ни просьбы о помощи в привычном смысле, ни паники, ни дешёвой театральности, которой часто грешили люди, пытавшиеся придать своему страху литературную форму. В письме была сухая сдержанность человека, не желающего произносить лишнего, потому что лишнее могло привлечь внимание. Или потому, что главное уже случилось, и теперь оставалось только выбрать, кто будет свидетелем.

Она положила лист на стол, но через секунду снова взяла его, словно боялась, что бумага исчезнет, если выпустить её из рук надолго. «Она снова пришла за своими детьми». Фраза была слишком выразительной для случайного бреда и слишком точной для обычной галлюцинации, если, конечно, несколько разных людей действительно произносили её перед смертью. В практике Софьи встречались повторяющиеся образы, семейные мифы, заражение страхом, внушение, коллективная тревога в закрытых сообществах, особенно там, где люди жили рядом, старели рядом, болели рядом и каждый день видели в чужом лице собственное будущее. Дом престарелых, санаторий, монастырь, закрытая школа, психиатрическая клиника — такие места всегда обладали особой внутренней погодой, и иногда одна фраза, один слух, один ночной звук начинали размножаться в сознании людей быстрее любой инфекции.

Но это письмо было не медицинским случаем. Оно было приглашением в историю, которая уже решила, что Софья Андреевна Горчакова должна в неё войти.

Она открыла ноутбук и набрала в поиске: «Пансионат Белая сирень». Сначала появились рекламные страницы, сделанные с той бездушной роскошью, с какой сейчас продавали почти всё, от элитных квартир до достойной старости. «Закрытый пансионат премиального уровня». «Индивидуальное медицинское сопровождение». «Проживание в исторической усадьбе». «Безопасность, забота, приватность». На фотографиях бывшая дворянская усадьба выглядела почти неправдоподобно красиво: длинный светлый фасад с колоннами, зимний парк, чугунная ограда, белая беседка среди тёмных елей, просторные комнаты с высокими потолками и окнами, за которыми открывался вид на сад. В рекламном тексте не было ни одного слова о смерти, памяти или детях; там говорилось о достоинстве, покое, профессиональном уходе, насыщенной культурной программе и бережном отношении к постояльцам с возрастными когнитивными изменениями.

Софья долго смотрела на фотографию главного входа. В изображении было что-то неуловимо неправильное, хотя она не сразу поняла, что именно. Может быть, дело было в слишком ровном свете, в слишком аккуратной чистоте снега, в том, что старый дом, прошедший через революцию, войны, национализации, ремонты и частные инвестиции, выглядел не живым, а отреставрированным до потери лица. Или в том, что за окнами второго этажа, где фотограф должен был поймать только отражение серого неба, Софье на мгновение почудилось что-то похожее на силуэт девочки.

Она приблизила изображение, но пиксели рассыпались, и вместо фигуры осталось мутное пятно, похожее на блик.

Софья закрыла вкладку, потом снова открыла. Руки у неё были спокойны, но внутри, в том месте, где обычно начиналась профессиональная настороженность, уже шевельнулось другое чувство, более древнее и менее управляемое, похожее на воспоминание без содержания. Так бывало иногда, когда клиент произносил фразу, которую она будто слышала когда-то в детстве, хотя точно знала, что не слышала, или когда случайный запах в метро внезапно переносил её не в конкретное место, а в состояние, где всё тело заранее знало: сейчас случится что-то, к чему невозможно подготовиться.

Она встала, подошла к окну и отодвинула край шторы. В стекле отразилось её лицо — усталое, с мягко очерченными чертами, тёмными внимательными глазами и той сдержанностью, которую клиенты часто принимали за спокойствие. На самом деле спокойствие было не качеством характера, а дисциплиной, выработанной годами: Софья умела оставаться неподвижной рядом с чужой паникой, умела не вздрагивать от признаний, не торопиться с утешением, не спасать человека раньше, чем он сам поймёт, от чего его нужно спасать. Но это умение не означало, что внутри неё не существовало собственных закрытых комнат.

Одна такая комната была связана с её бабушкой, Верой Павловной, умершей, когда Софье было двенадцать. Бабушка не любила рассказывать о прошлом, зато иногда, особенно в конце зимы, когда дни уже становились длиннее, но тепло ещё не приходило, доставала из нижнего ящика старого комода засушенную веточку сирени, завёрнутую в тонкую бумагу, и долго держала её в руках, не поднося к лицу. Софья тогда думала, что это связано с какой-то юношеской любовью или семейной потерей, о которой взрослые говорят намёками, чтобы дети не задавали лишних вопросов. Но однажды она спросила, почему бабушка хранит сухие цветы, и Вера Павловна ответила странно, почти сердито: «Потому что некоторые вещи нельзя выбрасывать, даже если они давно умерли».

В детстве Софья не поняла этих слов, но запомнила. Психологи вообще часто становились людьми, которые слишком рано запоминали взрослые интонации и слишком поздно позволяли себе спросить, что они означали.

Она вернулась к столу, взяла телефон и набрала номер, указанный на сайте пансионата. Ей ответили почти сразу, женский голос был мягким, заученно приветливым, с лёгкой усталостью человека, который ежедневно говорит о заботе так, будто забота является услугой, входящей в пакет проживания.

— Пансионат «Белая сирень», добрый вечер.

— Добрый вечер. Меня зовут Софья Андреевна Горчакова. Мне нужно связаться с директором, Константином Львовичем Верещагиным.

На том конце возникла короткая пауза, слишком короткая, чтобы её можно было назвать замешательством, и всё же достаточная для слуха Софьи, привыкшего замечать не только слова, но и пустоты между ними.

— Скажите, пожалуйста, по какому вопросу?

— По поводу консультации для постояльцев. Насколько я понимаю, администрация заинтересована в психологической оценке состояния нескольких человек.

— Одну минуту, Софья Андреевна.

Музыка на линии была тихой, классической, что-то струнное, гладкое и безликое. Софья смотрела на письмо, лежавшее под лампой. Свет падал на бумагу неравномерно, и на сгибах чернила казались темнее, почти коричневыми. В слове «вспоминать» последняя буква была выведена резче остальных, словно рука в этот момент дрогнула или человек, писавший письмо, услышал за спиной шаги.

— Софья Андреевна? — мужской голос прозвучал неожиданно близко, без предварительного щелчка соединения, и в нём было то безупречное воспитанное спокойствие, которое редко бывает природным. — Добрый вечер. Константин Верещагин. Мне сказали, Вы звоните по поводу консультации.

— Да. Я получила письмо.

Она сказала это намеренно просто и замолчала, оставляя ему возможность первым обозначить, знает ли он, о чём речь. Пауза снова была короткой, но на этот раз в ней не было удивления.

— Письмо, — повторил он мягко, будто пробуя слово на вкус. — Боюсь, мне нужно уточнить, кто именно мог Вам написать.

— На нём нет подписи.

— Понимаю. В таком случае, вероятно, кто-то из родственников наших постояльцев решил проявить инициативу. Люди иногда тревожатся больше, чем требуется, особенно когда речь идёт о возрасте, угасании, естественных изменениях психики. Мы, разумеется, не препятствуем независимому мнению специалиста, если оно помогает семье почувствовать уверенность.

Он говорил гладко, и каждое слово вроде бы было уместным, но вся фраза целиком напоминала закрытую дверь, за которой успели убрать что-то важное. Софья села в кресло, не отрывая взгляда от листа.

— В письме говорится о нескольких смертях.

— У нас пансионат для пожилых людей, Софья Андреевна. К сожалению, смерть здесь не является событием невероятным, хотя мы делаем всё, чтобы последние годы наших подопечных проходили достойно, спокойно и без лишних страданий.

— Там также говорится, что перед смертью эти люди произносили одну и ту же фразу.

На этот раз пауза стала длиннее. В ней исчезла музыка вежливости, и Софья почти физически почувствовала, как на другом конце линии человек меняет выражение лица, оставаясь при этом тем же безупречно воспитанным директором, который наверняка умел улыбаться родственникам, врачам, инвесторам и проверяющим комиссиям одинаково убедительно.

— Пожилые люди часто повторяют фразы, услышанные от других, — сказал он наконец. — Особенно в закрытом коллективе. Это не редкость.

— Значит, Вы знаете, о какой фразе идёт речь.

Верещагин тихо выдохнул, и этот выдох был первым живым звуком в разговоре.

— Я знаю, что в последние недели среди части постояльцев возникла тревожная тема. Мы не придавали бы ей большого значения, если бы некоторые родственники не начали воспринимать её слишком эмоционально. Мне действительно может понадобиться специалист Вашего профиля, но я предпочёл бы обсуждать детали лично, не по телефону.

— Когда я могу приехать?

Он ответил не сразу, и Софья почему-то представила, как он смотрит не в календарь, а в окно, за которым стоит тот самый зимний сад с рекламных фотографий, неподвижный, вычищенный, слишком белый.

— Завтра к вечеру, если Вам удобно. Мы подготовим для Вас комнату.

— Я не говорила, что останусь.

— Дорога неблизкая, а работа, вероятно, потребует времени. Кроме того, — голос его снова стал мягче, почти заботливее, — наши постояльцы не всегда хорошо реагируют на поспешные визиты. Им нужно привыкнуть к новому человеку.

Софья могла бы отказаться от комнаты, настоять на дневной консультации, запросить официальные документы, попросить направление от родственников, сделать всё правильно и безопасно, как делала в других случаях. Но письмо лежало перед ней, и в нём было всего три строки, которые, казалось, уже изменили порядок вещей. «Они начали вспоминать». Не «они боятся», не «они сходят с ума», не «они видят призраков», а именно вспоминать, словно память была не внутренним процессом человека, а чем-то внешним, приближающимся к дому, входящим в комнаты, касающимся лиц стариков холодными пальцами.

— Хорошо, — сказала она. — Завтра к вечеру.

— Я распоряжусь, чтобы Вас встретили у ворот.

— И ещё, Константин Львович.

— Слушаю Вас.

— Если Вы знаете, кто отправил письмо, лучше скажите мне сейчас.

Он ответил не сразу. Где-то в трубке едва слышно щёлкнуло, возможно, закрылась дверь или он переложил телефон в другую руку.

— В нашем доме, Софья Андреевна, живут люди с непростыми биографиями. Иногда им кажется, что прошлое требует свидетеля. Иногда прошлое действительно его требует. До завтра.

Связь оборвалась.

Софья ещё несколько секунд держала телефон у уха, слушая короткие гудки, потом положила его экраном вниз. В кабинете стало тише, чем раньше; даже шум улицы будто отступил, оставив ей только лампу, письмо и собственное отражение в тёмном окне. Она не любила мистических объяснений, не потому что была человеком сухим или неверующим, а потому что слишком хорошо знала: человеческая психика способна создавать призраков с такой убедительностью, что настоящие привидения по сравнению с ними казались бы почти грубыми. Вина, вытеснение, семейная ложь, травма, переданная через поколения, старческая спутанность, зависимость от лекарств, страх смерти, внушение, одиночество — всё это могло говорить голосами умерших, пахнуть цветами не по сезону, стучать по ночам в стены и заставлять человека видеть в коридоре фигуру матери, которой давно нет.

Но она также знала и другое: не всякая правда становится менее страшной оттого, что её можно объяснить.

Перед тем как уйти, Софья открыла нижний ящик письменного стола, где хранила личные вещи, редко нужные в рабочем кабинете: запасные ключи, старую записную книжку, несколько фотографий, аптечку, маленькую коробку с бабушкиными пуговицами, зачем-то сохранённую после разборки квартиры. Она сама не сразу поняла, зачем потянулась именно туда, но рука уже нашла на дне конверт из тонкой пожелтевшей бумаги. В нём лежала единственная фотография Веры Павловны в молодости: женщина лет тридцати, строгая, красивая, с собранными волосами и тем взглядом, который будто всегда был обращён немного в сторону от фотографа, туда, где происходило нечто более важное, чем семейный снимок.

Софья перевернула фотографию. На обороте рукой бабушки было написано: «Не спрашивай у мёртвых то, что побоялись сказать живые».

Эту надпись она видела раньше много раз, но в тот вечер впервые заметила в правом нижнем углу едва различимый штамп, почти стёртый временем и пальцами. Она поднесла фотографию к лампе, и проступили бледные буквы, сложившиеся в название, от которого воздух в кабинете, казалось, стал холоднее.

«Усадьба Годуновых-Черкасских».

Софья медленно опустила фотографию на стол рядом с письмом. Два листка, разделённые десятилетиями, лежали теперь так близко, будто всегда принадлежали одному делу, одной семье, одному молчанию, которое слишком долго передавалось не словами, а жестами, запретами, внезапными паузами за праздничным столом, закрытыми ящиками комодов и засушенными цветами, которые нельзя выбрасывать даже после того, как они давно умерли.

Она не сразу заметила, что в кабинете снова пахнет сиренью.

Запах был слабым, почти невозможным, но на этот раз Софья не стала искать ему объяснение. Она сидела неподвижно, глядя на своё имя, выведенное чужой рукой на белом конверте, и впервые за много лет почувствовала не профессиональный интерес, не тревогу специалиста, которого позвали туда, где люди слишком близко подошли к собственной смерти, а странное, холодное узнавание, словно где-то далеко, в старом доме за городом, уже открыли дверь, за которой её давно ждали.

Глава 2. Дорога через мёртвый сад



Утро следующего дня началось для Софьи Андреевны не с тревоги, как она ожидала, а с той особенной сухой собранности, которая иногда приходит после бессонной ночи, когда тело ещё помнит усталость, но сознание уже отказалось тратить силы на сомнения. Она проснулась до будильника, в мутном предрассветном свете, и некоторое время лежала неподвижно, прислушиваясь к квартире, где всё было знакомым, расставленным по местам, почти безупречно безопасным: тяжёлый шкаф у стены, кресло с брошенным на спинку пледом, книги на подоконнике, узкая полоска зеркала у двери, в котором отражался кусок серого окна и тёмный силуэт комнатного растения. Всё это существовало рядом с ней много лет и обычно возвращало ей чувство устойчивости, но в то утро привычные вещи казались не опорой, а декорацией, которую кто-то за ночь поставил вокруг неё слишком аккуратно, чтобы скрыть отсутствие настоящего покоя.

Она плохо спала. Не потому, что её мучили кошмары или прямые картины будущей поездки, а потому, что сон распадался на странные, липкие фрагменты: длинный коридор с облупившимися стенами, деревянная дверь с медной ручкой, детский смех, который становился скрипом снега под ногами, и бабушкины пальцы, осторожно разворачивающие тонкую бумагу, где лежала сухая ветка сирени, хрупкая до невозможности, но почему-то не рассыпающаяся. Несколько раз Софья просыпалась с уверенностью, что в квартире кто-то есть, и каждый раз, включив свет, видела только собственные вещи, неподвижные в своей ночной терпеливости, однако это не успокаивало, потому что тревожило не присутствие чужого, а ощущение,

что какая-то часть её собственной памяти вышла из глубины и теперь стоит где-то рядом, не называя себя.

Перед отъездом она сделала то, что делала всегда перед сложной работой: привела в порядок письменный стол, закрыла клиентские записи в сейф, ответила на самые срочные сообщения, перенесла несколько встреч и оставила ассистентке короткое объяснение о выездной консультации за городом. Чем спокойнее и рациональнее выглядели эти действия, тем явственнее ощущалась внутренняя неправильность происходящего. В обычных случаях она собирала с собой профессиональные инструменты: блокнот, диктофон, несколько диагностических бланков, документы, аптечку, сменную одежду. Теперь же к ним добавились письмо без подписи и фотография Веры Павловны со стёртым штампом усадьбы Годуновых-Черкасских, аккуратно вложенные в отдельную папку, словно вещественные доказательства по делу, которое ещё не было открыто, но уже касалось её слишком близко.

В течение утра она несколько раз ловила себя на том, что мысленно возвращается к словам директора. «Иногда прошлое действительно требует свидетеля». Фраза была слишком красива для администратора частного пансионата и слишком осторожна для человека, которому нечего скрывать. Софья привыкла к тому, что люди, оберегающие тайну, говорят не ложью, а обтекаемостью, и Верещагин владел этим искусством почти безупречно: он не отрицал странностей, не признавал опасности, не приглашал её открыто и не препятствовал приезду, оставляя за собой право потом сказать, что всё было добровольным, профессиональным и совершенно понятным. Такие люди редко повышали голос, редко угрожали напрямую и чаще всего держали власть не грубостью, а спокойным, грамотным распределением доступа: в одну комнату можно, в другую нельзя; с одним человеком поговорите, другого лучше не беспокоить; эти документы покажем, те находятся на проверке; здесь медицина, а там семейные обстоятельства.

К полудню город окончательно посерел. Снег то начинался, то прекращался, но не падал крупными красивыми хлопьями, а висел в воздухе мелкой влажной пылью, от которой окна становились мутными, а лица прохожих — одинаково усталыми. Софья вызвала машину до вокзала, и, пока ехала по знакомым улицам, Москва казалась ей городом, который умеет прятать любые тайны в плотном шуме будней. Люди спешили, говорили по телефону, ждали зелёного сигнала светофора, покупали кофе, несли пакеты, сердились на пробки, и всё это обычное движение жизни странным образом усиливало ощущение, что где-то за пределами этого ритма существует дом, в котором время не течёт вперёд, а ходит кругами по коридорам, стучится в закрытые двери и ждёт, пока кто-нибудь ошибётся и ответит.

Дорога до ближайшей станции заняла чуть больше часа. В поезде было тепло и пахло мокрой шерстью, чаем из бумажных стаканчиков, дешёвыми духами и металлом, нагретым человеческим дыханием. Софья сидела у окна, положив папку на колени, и смотрела, как город постепенно теряет плотность: многоэтажные дома отступали, рекламные щиты становились реже, промышленные окраины сменялись пустыми полями, дачными посёлками, чёрными полосами леса и редкими деревнями, в которых дым из труб поднимался медленно, почти вертикально, словно воздух там был тяжелее, чем в городе. В стекле отражалось её лицо, и иногда поверх этого отражения проплывали голые ветви, заборы, покосившиеся сараи, электрические столбы, — всё сливалось в один зимний рисунок, где настоящее и прошлое накладывались друг на друга без границы.

Она достала из сумки телефон и ещё раз открыла страницу пансионата. Сайт был сделан дорого, но без души; вся его роскошь состояла из правильных слов, тщательно отобранных фотографий и того особенного языка благополучия, который, чем больше обещает безопасность, тем сильнее напоминает о беспомощности человека, вынужденного её покупать. «Комфортные условия проживания для людей старшего возраста». «Круглосуточное наблюдение». «Индивидуальные программы восстановления». «Деликатное сопровождение при нарушениях

памяти». Последнее выражение задержало её взгляд. Нарушения памяти. Так мягко, почти гигиенично, называли распад того, из чего человек складывал себя всю жизнь. Имя жены, лицо ребёнка, дорога домой, слово «мама», собственная вина, которую хотелось забыть, и собственная любовь, которую забывать было страшнее всего, — всё это можно было поместить в безупречную формулировку и закрыть медицинской картой.

Софья не любила романтизировать память. Она знала, что память не архив и не зеркало, а скорее живая ткань, которая зарастает, искажается, защищает, обманывает, выталкивает наружу то, что человек не хотел знать, и прячет то, без чего он не может жить дальше. В детстве ей казалось, что взрослые помнят всё, просто выбирают, о чём говорить; потом, уже в университете, она поняла, что люди гораздо чаще не лгут, а действительно становятся пленниками собственных версий, и эта мысль всегда пугала её сильнее сознательной лжи. Лжец хотя бы знает, где закопано тело правды. Человек, поверивший в созданную им историю, может пройти по этому месту тысячу раз и не почувствовать под ногами ничего, кроме твёрдой земли.

После станции её должен был встретить водитель пансионата. Мужчина лет пятидесяти, плотный, в тёмной куртке и вязаной шапке, стоял у выхода с табличкой «Горчакова С. А.» и, увидев её, чуть заметно кивнул, не проявив ни любопытства, ни приветливости. Звали его, как выяснилось, Павел, отчество он произнёс невнятно, будто не считал нужным задерживать разговор на себе. Машина была чёрная, чистая, слишком хорошо вымытая для просёлочных дорог, с тёплым кожаным салоном и слабым запахом хвойного ароматизатора, который не столько освежал воздух, сколько подчёркивал его искусственность.

— Далеко ехать? — спросила Софья, пристёгиваясь.

— Минут сорок, если дорогу не перемелю.

— Часто замечает?

— Здесь всё часто замечает, — сказал Павел после паузы, не отрывая взгляда от дороги. — Место такое.

Он не был разговорчив, но Софья не спешила задавать вопросы. Иногда молчание человека говорило о нём больше, чем ответы, и молчание Павла не было пустым; в нём чувствовалась осторожность работника, который давно привык видеть, слышать и не связывать увиденное словами. Они выехали со станции, миновали несколько низких домов, магазин с тусклой вывеской, автобусную остановку, где под навесом стояла женщина с двумя сумками, и скоро дорога ушла между полями, покрытыми тяжёлым настом. Небо висело низко, как потолок в старом доме, и в этом сером пространстве чёрные деревья вдоль обочины казались не растениями, а знаками, поставленными кем-то на пути.

— Вы давно работаете в пансионате? — спросила Софья, когда молчание стало слишком плотным.

— С открытия.

— То есть с тех пор, как усадьбу переделали под пансионат?

— Усадьбу переделывали много раз, — сказал Павел. — Под пансионат — лет восемь назад. До этого там база была, потом что-то вроде ведомственного санатория, ещё раньше детский дом, говорят. Много чего было.

Он произнёс «говорят» так, как произносят люди, которые знают больше, но не собираются брать на себя ответственность за знание.

— А приют до революции тоже был?

Пальцы водителя едва заметно сжались на руле.

— Про это старики любят рассказывать.

— Постояльцы?

— Не все. Некоторые. Когда настроение такое.

— Какое?

Он посмотрел в зеркало заднего вида, и взгляд у него оказался неожиданно внимательным, почти предупреждающим.

— Когда снег идёт.

Софья не ответила. За окном действительно снова начался снег, тонкий, косой, исчезающий в воздухе, прежде чем успевал стать видимым на земле. Машина ехала по узкой дороге, и с каждой минутой вокруг становилось всё меньше признаков сегодняшнего дня. Пропала мобильная связь, исчезли рекламные щиты, редкие дома отступили за лесополосу, и только навигатор на панели продолжал показывать синюю линию маршрута, нелепо современную среди полей и старых деревьев. В какой-то момент Софья поймала себя на том, что дорога кажется ей не поездкой к новому месту, а возвращением туда, где она никогда не была, и это ощущение было настолько неприятным, что она почти рассердилась на себя за готовность поддаться атмосфере.

Профессиональная трезвость требовала простых объяснений. Есть закрытое учреждение для пожилых людей, где могли быть нарушения ухода, медицинские ошибки, злоупотребления, давление родственников, конфликт персонала, финансовые интересы владельцев, невыявленные психические расстройства, групповое заражение тревожным образом, возможно, манипуляция со стороны кого-то из сотрудников или постояльцев. Есть письмо, написанное человеком, который либо действительно боится, либо хочет вовлечь её в чужую игру. Есть семейный след, пока не доказанный ничем, кроме старого штампа на фотографии, который мог означать визит, работу, случайную съёмку, любую бытовую связь с усадьбой. Никаких оснований для мистического вывода не было, и всё же именно эта рассудочная цепочка почему-то казалась слишком тонкой, как нитка, натянутая над глубокой водой.

— А смерти действительно были? — спросила она.

Павел помолчал.

— Люди старые.

— Это не ответ.

— Другого у меня нет.

— А фразу перед смертью Вы слышали?

На этот раз он не ответил сразу так долго, что Софья уже решила, будто он промолчит до самого пансионата. Машина миновала поворот, дорога стала хуже, колёса мягко проваливались в снежную кашу у обочины, и лес приблизился, сомкнувшись по обе стороны тёмными стволами.

— Я не медик, — наконец сказал Павел. — Меня к умирающим не зовут.

— Но Вы знаете, о какой фразе речь.

— Здесь все знают, — тихо произнёс он. — Даже те, кто делает вид, что не знает.

Софья посмотрела на его профиль. Лицо водителя оставалось неподвижным, но в этой неподвижности было напряжение человека, которому не нравится собственная откровенность.

— И что Вы об этом думаете?

— Я думаю, что старым людям нельзя мешать умирать спокойно.

— Даже если они чего-то боятся?

— Особенно если боятся.

В этих словах не было жестокости. Скорее усталость, может быть, суеверная, может быть, просто человеческая, выросшая из наблюдения за тем, как память возвращается к тем, у кого уже почти не осталось сил её выдерживать. Софья хотела спросить ещё, но Павел вдруг включил поворотник, хотя вокруг не было ни одной машины, и свернул на дорогу, обсаженную старыми липами. Деревья стояли по обе стороны, огромные, искривлённые, с наростами на стволах, похожими на застывшие лица, и их ветви переплетались над дорогой так низко, что машина будто въехала в длинный, тёмный, растительный коридор. Снег здесь лежал нетронутым, плотным, с синеватой тенью, и чем дальше они продвигались, тем сильнее становилось

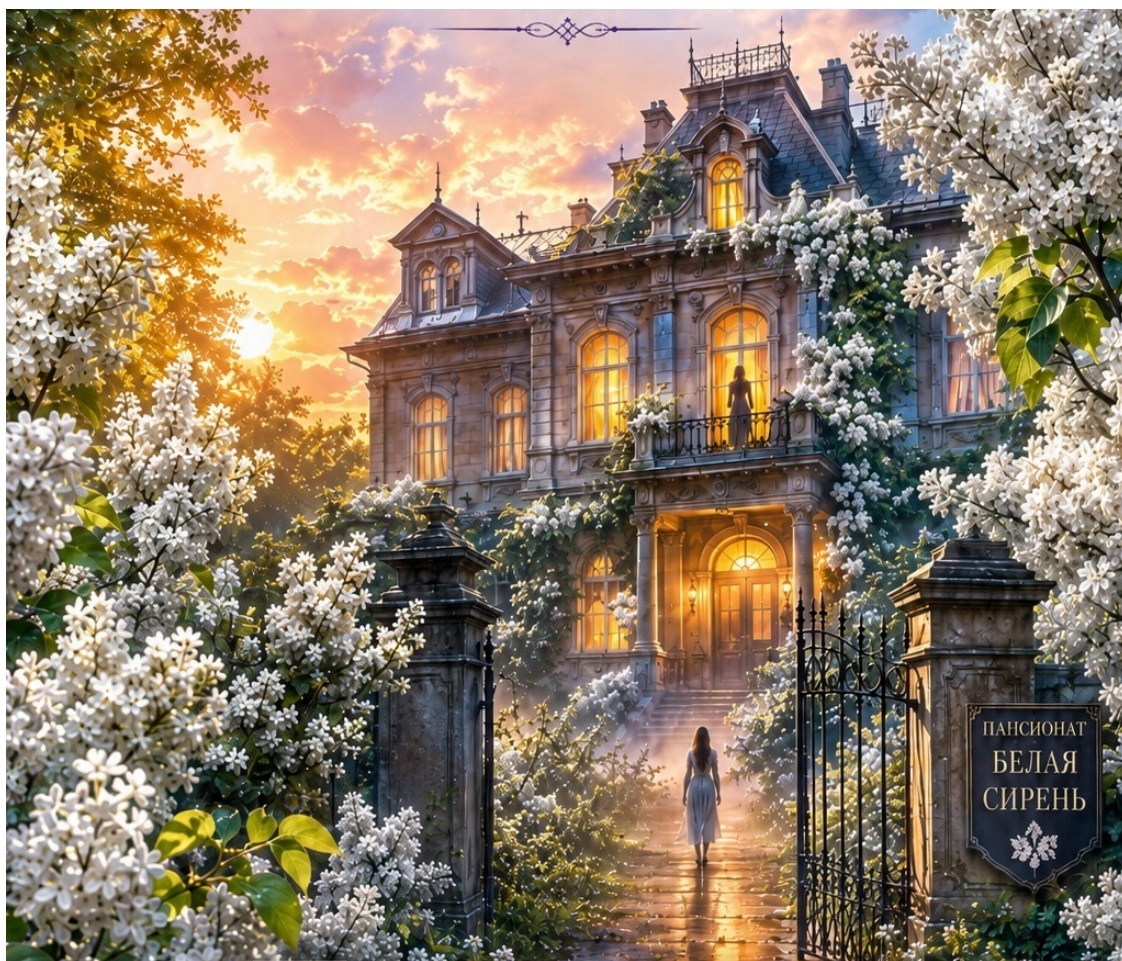
ощущение, что дорога не ведёт к дому, а отсеивает всё лишнее: город, работу, привычные имена, современные объяснения, возможность повернуть назад.

Первой показалась ограда. Высокая, чугунная, с каменными столбами, она тянулась вдоль дороги, почти полностью скрытая зарослями сирени, которые зимой выглядели мёртвыми, спутанными, ломкими, но от этого ещё более настойчивыми, будто кусты не росли у ограды, а удерживали её своими корнями. Потом из-за деревьев проступили ворота с гербом, стёртым настолько, что невозможно было разобрать фигуры на щите, и маленькая будка охраны с электрическим светом внутри. Павел остановил машину, опустил стекло, коротко сказал что-то охраннику, и ворота начали медленно раскрываться, издавая низкий металлический звук, похожий не на скрип, а на вздох.

Софья невольно задержала дыхание.

Усадьба Годуновых-Черкасских открылась не сразу, а постепенно, как лицо человека, выходящего из темноты. Сначала она увидела парк: широкую аллею, занесённую снегом, старые ели, тёмные и неподвижные, белую беседку на пригорке, похожую на предмет из чужого сна, потом длинный фасад дома, вытянутый и светлый, с колоннами, балконом, высокими окнами и боковыми крыльями, одно из которых было закрыто строительной сеткой. Дом был красив той красотой, которая не успокаивает, потому что в ней слишком много пережитого; новая краска на стенах не могла скрыть тяжести пропорций, старые каменные ступени проступали под противоскользящими накладками, а современные фонари вдоль аллеи только подчёркивали возраст деревьев и безмолвие окон.

В рекламных фотографиях «Белая сирень» выглядела светлой и дорогой. В действительности она казалась слишком большой для тех, кто в ней жил, и слишком внимательной к тем, кто приезжал.



Машина медленно двинулась по аллее. Слева за деревьями Софья заметила заснеженный пруд, по краям которого торчали чёрные стебли камыша; справа — ряд хозяйственных построек, отреставрированных, но всё равно сохранивших казённую прямоthu. Несколько пожилых людей в тёплых пальто и шапках гуляли у главного входа в сопровождении сиделки; один старик в инвалидном кресле сидел под навесом, укрытый пледом, и смотрел не на дорожку, не на сад, не на дом, а куда-то выше, в окна второго этажа, с таким выражением лица, будто там происходило нечто видимое только ему. Когда машина поравнялась с ним, он медленно повернул голову, и Софье показалось, что его взгляд задержался на ней не случайно.

— Это Николай Александрович? — спросила она.

Павел посмотрел туда же и заметно помрачнел.

— Нет. Николая Александровича на прогулки почти не выводят.

— Почему?

— Не любит сад.

— А сад его?

— Нет, — сказал водитель, останавливая машину у крыльца. — Он боится, что его там кто-то считает.

Софья не успела уточнить, что он имел в виду, потому что к машине уже подошёл мужчина в длинном тёмном пальто. Он был лет пятидесяти пяти, высокий, подтянутый, с красивой сединой и лицом, которое на расстоянии казалось открытым, но вблизи обнаруживало почти полное отсутствие случайных выражений. Всё в нём было выверено: улыбка, наклон головы, мягкость взгляда, даже жест, которым он помог Софье выйти из машины, был одновременно

любезным и чуть отстранённым, как у человека, привыкшего прикасаться к чужим судьбам только через перчатку должности.

— Софья Андреевна, — сказал он, и его голос оказался именно таким, каким она запомнила его по телефону: спокойным, тёплым, слишком хорошо поставленным. — Рад, что Вы добрались благополучно. Константин Львович Верещагин. Добро пожаловать в «Белую сирень».

Она пожала ему руку. Ладонь у него была сухая, прохладная.

— Спасибо. Дорога действительно неблизкая.

— В этом есть свои преимущества. Не всякая тревога доезжает сюда из города.

— А местная?

Верещагин едва заметно улыбнулся.

— Местная тревога обычно знает, как вести себя прилично.

Фраза могла быть шуткой, но не стала ею. Он взял её сумку у водителя и повёл Софью к крыльцу. Ступени были очищены от снега, перила отполированы руками, над входом висела табличка с названием пансионата, выполненная из тёмного металла и молочного стекла. «Белая сирень». Новые буквы на старом камне. Софья поднялась на крыльцо и уже почти вошла внутрь, когда внезапно остановилась.

Запах появился так резко, что она не могла списать его на воображение. Сладкий, холодный, живой запах цветущей сирени прошёл по воздуху, смешиваясь с морозом, влажной шерстью её пальто и слабым ароматом дорогого мужского одеколona Верещагина. Он длился всего несколько секунд, но был таким явственным, будто где-то рядом, за сугробами и мёртвыми кустами, действительно раскрылась ветка белых цветов.

— Вы что-то забыли? — спросил директор.

Софья посмотрела на ограду, на сад, на голые кусты сирени, чёрные и неподвижные под снегом.

— Нет. Просто запах.

Верещагин тоже повернул голову, но выражение его лица не изменилось.

— Здесь старый парк. Иногда он удивляет гостей.

— Сиренью в феврале?

— Память вообще плохо разбирается в календарях, Софья Андреевна, — сказал он после едва заметной паузы и открыл перед ней тяжёлую дверь.

Внутри было тепло, слишком тепло после морозного воздуха, и сначала Софья ощутила не интерьер, а запах дома: полированное дерево, лекарства, свежие цветы в вазах, кофе, старые стены под новым ремонтом, лавандовое средство для уборки и где-то под всем этим — слабую сырость камня, которую нельзя было уничтожить ни реставрацией, ни деньгами. Холл был просторный, светлый, с высокими потолками, лепниной, широкими лестницами и большим зеркалом в золочёной раме напротив входа. На стенах висели репродукции, подобранные так, чтобы не тревожить вкусом и не требовать внимания; на стойке администратора стояла ваза с белыми розами; в углу мягко тикали напольные часы, и их ход был таким ровным, что казался не звуком времени, а доказательством установленного порядка.

Софья увидела себя в зеркале: тёмное пальто, дорожная усталость на лице, папка под мышкой, снег на волосах. И за своей спиной — лестницу, уходящую наверх, где на площадке второго этажа стояла пожилая женщина в светлом халате. Она была очень худая, почти прозрачная, с высоко поднятой головой и седыми волосами, собранными в пучок. Даже на расстоянии в её осанке чувствовалась старая, несломленная выучка тела, не позволяющая сутулиться ни возрасту, ни боли. Женщина смотрела на Софью долго и неподвижно, потом вдруг прижала пальцы к губам, словно увидела не гостью, а человека, которого по каким-то причинам считала невозможным.

— Это Элеонора Платоновна Вяземская, — тихо сказал Верещагин, проследив за её взглядом. — В прошлом балерина. Иногда она принимает новых людей за кого-то из своих воспоминаний.

— За кого она приняла меня?

— Полагаю, это лучше спросить у неё, если она захочет ответить.

Пожилая женщина на лестнице медленно опустила руку, и её лицо изменилось. На нём появилось выражение страха, но не внезапного, не бытового, а древнего, уже не раз пережитого, как будто Софья была последним подтверждением того, что ожидание длиною в жизнь наконец закончилось. Затем к ней подошла сиделка, что-то сказала, взяла под локоть, и Элеонора Платоновна позволила увести себя, но перед тем как исчезнуть в коридоре, произнесла достаточно громко, чтобы слова долетели до холла:

— Она всё-таки нашла дорогу.

Верещагин остался неподвижен. Только пальцы его, лежавшие на ручке Софьиной сумки, чуть сильнее сжали кожу.

— Не обращайтесь внимания, — сказал он тем же мягким голосом. — Вечером у некоторых наших постояльцев усиливается тревожность.

— Сейчас не вечер.

— В старости время становится менее надёжным собеседником.

Софья повернулась к нему. Она ещё не успела снять пальто, ещё не увидела своей комнаты, не открыла ни одного документа, не поговорила ни с одним пациентом, но дом уже начал говорить с ней своими способами: запахом сирени, взглядом старой балерины, недоговорками водителя, чужой фразой в холле, где всё должно было быть спокойно, дорого и благополучно.

— Константин Львович, — сказала она, — я приехала не для того, чтобы подтверждать удобные объяснения.

Он встретил её взгляд без раздражения, даже с некоторым уважением, но за этой вежливой открытостью Софья почувствовала холодное сопротивление человека, который привык допускать других только до заранее отмеренной глубины.

— Разумеется, — ответил он. — Именно поэтому Вас и ждали.

В это мгновение где-то в глубине дома раздался звук, похожий на детский смех. Он был коротким, приглушённым, словно донёсся из-за закрытой двери или из вентиляционной шахты, и почти сразу растворился в тиканье часов, в шаге сиделки на лестнице, в тихом гуле отопления. Верещагин не обернулся, но Софья заметила, как на мгновение напряглась линия его плеч.

— У нас сегодня музыкальное занятие в малой гостиной, — сказал он.

— Детский смех на музыкальном занятии для пожилых людей?

Он посмотрел на неё почти ласково.

— В больших домах, Софья Андреевна, звук редко приходит оттуда, откуда кажется.

С этими словами он жестом пригласил её пройти дальше, и Софья, сделав первый шаг по мраморному полу холла, вдруг поняла, что за дверью «Белой сирени» осталось не просто холодное февральское поле, не просто дорога назад и не просто обычная жизнь, в которой письма имеют отправителей, смерти имеют медицинские заключения, а запахи — объяснимые источники. За этой дверью осталась та часть мира, где прошлое считается прошедшим.

Здесь оно, похоже, только готовилось представиться.

Глава 3. Директор Верещагин



Кабинет Константина Львовича Верещагина находился не в административной пристройке, как можно было ожидать от современного медицинского учреждения, а в старой северной анфиладе, где комнаты сохранили пропорции прежнего барского дома и даже после ремонта не утратили того странного достоинства, которое бывает у помещений, слишком долго наблюдавших за чужой жизнью. Софья Андреевна шла вслед за директором по широкому коридору, и с каждым шагом ей всё явственнее казалось, что «Белая сирень» была устроена не как пансионат, а как тщательно замаскированный архив: здесь хранились не только медицинские карты, личные дела и договоры с родственниками, но и интонации, запреты, привычки, невысказанные просьбы, чьи-то последние взгляды, неловкие семейные визиты по воскресеньям, обрывки старых разговоров, в которых люди уже не помнили имён, но ещё сохраняли боль от когда-то произнесённых слов.

Пол под ногами был новым, светлым, дорогим, однако под ним, как Софья почему-то сразу почувствовала, оставался прежний деревянный настил, и оттого каждый шаг звучал двойным: верхний слой отвечал мягко и приглушённо, а где-то глубже, почти неслышно, отзывался старый дом, будто повторял за каждым вошедшим человеком его движение с едва заметным опозданием. На стенах висели фотографии усадьбы до реставрации — аккуратно оформленные, отпечатанные на плотной матовой бумаге, с подписями, где дореволюционное прошлое было подано благородно, безопасно, почти декоративно: «Южный фасад. Начало XX века», «Зимний сад. 1911 год», «Семья Годуновых-Черкасских у главного входа». Софья задержалась у одного снимка всего на секунду, но успела заметить группу девочек в одинаковых тёмных платьях у дальней колонны; они стояли чуть в стороне от господ, не как участницы семейной сцены, а как тени, случайно попавшие в кадр и не имеющие права на собственную подпись.

Верещагин заметил её взгляд и остановился с той изящной предупредительностью, которая могла бы показаться вниманием, если бы в ней не чувствовалась привычка контролировать даже чужие паузы.

— Исторические материалы, — сказал он. — Мы стараемся сохранять память места, но без излишнего драматизма. Старые дома и без того располагают людей к фантазиям, особенно когда речь идёт о тех, кто уже склонен путать воспоминания с воображением.

— Память места, — повторила Софья, рассматривая фотографию. — Удобное выражение. Оно позволяет признать прошлое, не называя его слишком конкретно.

— А конкретность не всегда полезна, — мягко ответил он. — Иногда она разрушает больше, чем лечит.

— Это зависит от того, что именно было разрушено до неё.

Он улыбнулся, но улыбка не изменила его глаз. В этом лице вообще было что-то странно устойчивое: вежливость держалась на нём как тщательно подобранная ткань, не давая увидеть ни раздражения, ни усталости, ни настоящего интереса. Софья знала такие лица. Их часто носили люди, привыкшие быть посредниками между правдой и теми, кто платит за то, чтобы правда оставалась управляемой.

— Надеюсь, — сказал он, продолжая путь, — Вы не станете воспринимать меня как препятствие. Я пригласил Вас не для того, чтобы мешать Вашей работе.

— Вы меня не приглашали. Мне написали.

— Формально да. Но я мог бы отказать Вам во встрече, если бы считал Ваше присутствие вредным.

— А Вы считаете его полезным?

— Я считаю его неизбежным.

Последнее слово прозвучало не громче остальных, но почему-то осталось в воздухе чуть дольше, чем требовалось обычной фразе. Софья посмотрела на его спину, прямую и спокойную, и подумала, что Верещагин, возможно, сказал больше, чем собирался. Или, наоборот, ровно столько, сколько хотел, чтобы она услышала.

Кабинет директора оказался большой угловой комнатой с двумя высокими окнами, выходившими на заснеженный парк. Внутри всё было подобрано с дорогой сдержанностью: тёмный письменный стол, книжные шкафы, кожаные кресла, лампа с зелёным абажуром, несколько старых гравюр на стенах, современный компьютер, спрятанный так деликатно, будто техника нарушала общий порядок воспоминания. На подоконнике стояла широкая чаша с белыми камелиями, живыми, свежими, безупречно красивыми, но их запах был почти неуловим, и после сирени у крыльца эти цветы казались молчаливыми подменами, призванными доказать, что все ароматы в доме имеют разумное происхождение.

Верещагин предложил Софье снять пальто и сел напротив, не за стол, а в кресло у низкого журнального столика, тем самым создавая иллюзию равного разговора. Он умел располагать

пространство так же, как речь: не давить, но направлять; не закрывать дверь, но незаметно показывать, где заканчивается разрешённая территория. Софья положила папку на колени, но не открыла её, предпочитая сначала слушать не документы, а человека.

— Прежде чем Вы встретитесь с постояльцами, — начал он, — я хотел бы обозначить несколько обстоятельств. Наш пансионат действительно является учреждением закрытого типа, но не в каком-то мрачном смысле, который любят вкладывать в это слово журналисты и родственники с повышенной тревожностью. Здесь живут люди, чьи семьи по разным причинам заинтересованы в приватности: кто-то занимал высокие должности, кто-то принадлежит к известным фамилиям, кто-то просто не хочет, чтобы его старость стала предметом чужого любопытства.

— Я соблюдаю конфиденциальность.

— Я знаю. Именно поэтому Ваше имя и оказалось в списке возможных специалистов.

Софья слегка приподняла брови.

— В каком списке?

Верещагин сделал паузу, будто решая, стоит ли считать эту оговорку случайной, а затем улыбнулся с лёгкой самоиронией.

— В нашем внутреннем списке консультантов, к которым можно обратиться в нестандартных ситуациях. У Вас хорошая репутация, Софья Андреевна. Вы умеете работать с травматической памятью и пожилыми пациентами, а главное — не склонны превращать клинические случаи в сенсации.

— Кто составлял этот список?

— Медицинский совет.

— В пансионате есть медицинский совет?

— Разумеется. Мы не богадельня с красивым фасадом, хотя некоторые предпочли бы видеть в нас именно это. У нас работают врачи, нейропсихолог, психиатр на внешнем сопровождении, реабилитологи, сиделки, и все назначения проходят контроль.

Он говорил уверенно, почти безупречно, но Софья давно знала: чем лучше выстроена официальная версия, тем важнее смотреть не туда, где она крепкая, а туда, где она слишком гладкая. Хорошая правда обычно имеет неровности, потому что жизнь не подчиняется отчётной форме. Ложь, сделанная профессионально, часто бывает ровной, как отполированный мрамор, и именно по этой ровности на ней можно поскользнуться.

— Тогда начнём с фактов, — сказала она. — Сколько смертей вызвали тревогу?

— За последние три месяца умерли четверо постояльцев.

— Для учреждения такого профиля это много?

— Не аномально. У всех были серьёзные возрастные заболевания.

— И все четверо перед смертью произносили одну и ту же фразу?

На лице Верещагина не дрогнул ни один мускул, но взгляд стал чуть более неподвижным.

— По словам персонала и двух родственников, да, похожая фраза звучала.

— Не похожая, а одна и та же?

— Формулировки могли различаться.

— Константин Львович, я не следователь и не журналист. Если Вы хотите моей помощи, мне придётся слышать не сглаженную версию, а точную.

Он посмотрел на неё с тем выражением, с каким взрослый человек смотрит на другого взрослого, внезапно отказавшегося участвовать в принятой игре. Несколько секунд они молчали, и Софья слышала за окном приглушённый скрип ветвей под снегом, а ещё дальше, из глубины дома, равномерный звук шагов, очень медленных, будто кто-то шёл по коридору с трудом, но настойчиво, отмеряя пространство не ногами, а памятью.

— Да, — сказал Верещагин наконец. — Фраза была почти одинаковой. «Она снова пришла за своими детьми». Иногда «вернулась», иногда «пришла», но смысл сохранялся.

— Кто первая её произнесла?

— Вера Никитична Оболенская. Восемьдесят девять лет. Сердечная недостаточность, деменция смешанного типа, тяжёлое течение. Она умерла во сне, без признаков насилия или distress-синдрома.

— Вы сейчас говорите медицинским отчётом.

— Потому что это медицинский случай.

— Тогда почему Вы сказали по телефону, что прошлое иногда действительно требует свидетеля?

Эта фраза впервые заставила его отвести взгляд. Он посмотрел в окно, где за стеклом стояли старые липы, покрытые инеем, и дальняя линия парка растворялась в сером воздухе.

— Потому что я достаточно долго работаю с пожилыми людьми, чтобы понимать: иногда перед смертью человек говорит не о том, что видит вокруг, а о том, что носил внутри десятилетиями. Это не мистика, Софья Андреевна. Это физиология, психика, распад защитных механизмов, иногда — возвращение вытесненного материала. Мне не нужно объяснять Вам Вашу профессию.

— Не нужно. Но Вы пытаетесь заранее ограничить её рамки.

Он снова посмотрел на неё, и на этот раз в его взгляде мелькнуло что-то почти живое, похожее на раздражение, быстро прикрытое привычной вежливостью.

— Я пытаюсь защитить людей, которые здесь живут. Их возраст, состояние и биографии требуют осторожности.

— Биографии или версии биографий?

В комнате стало тише. Даже часы на каминной полке, до этого едва слышно отсчитывавшие секунды, показались Софье на мгновение остановившимися, хотя, конечно, это было невозможно. Верещагин не ответил сразу, и она поняла, что попала не просто в больное место, а в точку, вокруг которой весь этот дом, возможно, и был выстроен.

— Вы очень быстро делаете выводы, — сказал он.

— Нет. Я задаю вопросы.

— Иногда вопрос уже содержит обвинение.

— Иногда отсутствие ответа подтверждает, что вопрос задан правильно.

Он чуть наклонил голову, признавая удар, но не сдвигая позиции, и в этом их разговоре неожиданно возникло что-то похожее на дуэль без повышенных голосов, где каждый выпад был обёрнут в безупречную форму. Софья чувствовала, что Верещагин не глуп, не труслив и не является простым администратором, случайно оказавшимся в центре чужой истории. Он был частью механизма, но пока невозможно было понять, защищает ли он этот механизм, управляет им или сам давно находится внутри него, как человек, привыкший жить в доме, где некоторые двери не открывают не потому, что там пусто, а потому, что оттуда могут позвать по имени.

— Я дам Вам доступ к медицинским картам тех постояльцев, с которыми Вы будете работать, — сказал он после паузы. — Разумеется, в рамках согласия родственников и законных представителей. Сегодня вечером Вы познакомитесь с частью жильцов в общей гостиной, завтра начнёте индивидуальные беседы. В первую очередь я бы рекомендовал Элеонору Платоновну Вяземскую, Аркадия Наумовича Березина-Шестакова и Раису Глебовну Чегодаеву. Валериан Семёнович Сухово-Кобылин, скорее всего, откажется разговаривать, но это не должно Вас удивлять. Он всегда считал психологию формой мягкого допроса.

— А Николай Александрович?

— Нет.

Ответ прозвучал слишком быстро.

Софья откинулась на спинку кресла, впервые позволив себе открыто задержать на нём взгляд.

— Почему?

— Он не является участником этой ситуации.

— Вы уверены?

— Абсолютно.

— У человека нет документов, он содержится в закрытом пансионате, на прогулки его почти не выводят, водитель говорит, что он боится сада, и при этом Вы утверждаете, что он не имеет отношения к происходящему.

На лице Верещагина снова появилась улыбка, но теперь в ней не было даже попытки тепла.

— Павел слишком много говорит с гостями.

— Он сказал меньше, чем Вы сейчас своим «нет».

— Софья Андреевна, — голос директора стал мягче, но в этой мягкости появилось железо, — Николай Александрович находится под медицинским наблюдением. Его состояние нестабильно, контакты с новыми людьми могут спровоцировать ухудшение. В Ваших профессиональных интересах, как и в человеческих, не причинять вред пациенту.

— Очень удобная формулировка.

— Очень необходимая, если речь идёт о человеке, который не может защитить себя от чужого любопытства.

Софья могла возразить, но не стала. В его словах было достаточно правды, чтобы спор выглядел неэтичным, и достаточно запрета, чтобы этот запрет сам стал важной уликой. Она отметила про себя: Николай Александрович — закрытая зона, возможно, ключевая. Но открывать закрытые зоны слишком рано было ошибкой; любой дом, как и любой человек, сопротивлялся грубому вторжению и охотнее выдавал тайны тому, кто умел делать вид, что интересуется другим.

— Хорошо, — сказала она. — Я начну с тех, кого Вы назвали.

Верещагин чуть заметно расслабился, но Софья видела: он не поверил её уступке. И правильно сделал.

— Есть ещё одно условие, — продолжил он. — Западное крыло закрыто для посещения. Там идут реставрационные работы, часть перекрытий признана аварийной, и я не хочу, чтобы Вы подвергали себя риску.

— А постояльцы туда не ходят?

— Нет.

— Персонал?

— Только технические специалисты.

— Смерти происходили в жилом крыле?

— Да.

— Тогда почему Вы заранее говорите мне о западном?

На этот раз Верещагин позволил себе усталую усмешку, и в ней вдруг проступил человек, которому, возможно, надоело объяснять очевидное тем, кто всё равно услышит скрытый смысл.

— Потому что все гости, услышав слово «запрещено», начинают интересоваться именно тем местом, куда их не пускают. Я предпочитаю предупреждать заранее.

— Вы хорошо знаете людей.

— Достаточно, чтобы не романтизировать их любопытство.

— А память?

— Память я романтизировал в молодости, — сказал он неожиданно тихо. — Потом понял, что большинство людей хотят помнить только то, что позволяет им оставаться собой.

Эта фраза, произнесённая почти без защиты, на мгновение изменила атмосферу разговора. В ней было нечто личное, и Софья ощутила, что за отточенной административной

поверхностью Верещагина есть своя закрытая история, возможно, не менее тёмная, чем истории его постояльцев. Он тут же отвёл взгляд к бумагам, лежавшим на столе, и вернул себе прежний тон.

— Ваша комната готова. Номер двенадцать, второй этаж, восточное крыло. Ужин в семь. До ужина я попрошу старшую сестру показать Вам основные помещения.

— Старшую сестру?

— Анфису Лукиничну Рогову. Она работает здесь почти с момента открытия пансионата. Формально она уже на пенсии, но продолжает помогать нам, скорее по привычке, чем по необходимости.

— Сестра милосердия?

— В прошлом. Сейчас такого названия уже почти не употребляют, но к ней оно почему-то подходит.

Он нажал кнопку на внутреннем телефоне и попросил пригласить Анфису Лукиничну. Пока они ждали, Софья снова посмотрела в окно. С высоты кабинета парк казался не таким ухоженным, как с подъездной аллеи. Там, за белой беседкой и ровными дорожками, начались заросли старой сирени, тёмные, спутанные, местами провалившиеся под снегом, и дальше, почти у самой ограды, виднелось боковое крыло дома, закрытое строительной сеткой. На одном из окон западной части не было шторы, и за мутным стеклом Софье на мгновение показалось движение: будто кто-то прошёл внутри, медленно, близко к окну, но не настолько близко, чтобы можно было различить лицо.

— Вы сказали, что там аварийное состояние, — произнесла она, не оборачиваясь.

— Да.

— Но свет включён.

Верещагин подошёл к окну, встал рядом, посмотрел туда же.

— Охрана. Иногда они проверяют периметр изнутри.

— В аварийном крыле?

— Софья Андреевна, Вы ещё не успели снять пальто после дороги, а уже пытаетесь поймать меня на противоречиях.

— Это профессиональная деформация.

— Надеюсь, она не мешает Вам видеть людей, а не только подозрения.

Она повернулась к нему, и на этот раз он не улыбался. В его лице появилась тень усталости, может быть, даже просьбы, но настолько глубоко спрятанной, что Софья не решилась бы назвать её вслух. В этот момент в дверь постучали.

— Войдите, — сказал Верещагин.

Дверь открылась, и на пороге появилась пожилая женщина в тёмном платье и белом переднике, который выглядел не частью современной униформы, а пережитком другого времени. Она была невысокая, очень прямая, с сухим лицом, тонкими губами и серыми глазами, в которых было то редкое качество, которое Софья всегда замечала у людей, много лет ухаживавших за больными: не сентиментальность, не мягкость, а выносливое, трезвое сострадание, давно утратившее иллюзии, но не превратившееся в равнодушие. Волосы Анфисы Лукиничны были убраны под белую косынку, руки, сложенные перед собой, казались маленькими и сильными, с выступающими венами и аккуратно подстриженными ногтями.

— Константин Львович, — сказала она, входя. Голос у неё был негромкий, хрипловатый, будто слова она выпускала неохотно и только по необходимости.

— Анфиса Лукинична, это Софья Андреевна Горчакова, психолог, о котором я говорил. Пожалуйста, проводите её в комнату, покажите основные помещения и познакомьте с распорядком.

Старшая сестра посмотрела на Софью. Не поздоровалась сразу, не улыбнулась, не проявила удивления. Просто посмотрела, и в этом взгляде было такое пристальное, почти болез-

ненное узнавание, что Софья почувствовала, как внутри неё слабо, но отчётливо напряглось что-то, не имеющее отношения к профессиональному интересу.

— Горчакова, — повторила Анфиса Лукинична.

— Да.

— По отцу?

Софья не ожидала вопроса и ответила не сразу.

— Да. А что?

Анфиса Лукинична перевела взгляд на Верещагина. Тот оставался неподвижным, но в воздухе между ними возникла короткая, почти незаметная связь, как между людьми, которые давно умеют обмениваться предупреждениями без слов.

— Ничего, — сказала она наконец. — Просто фамилия знакомая.

— Вы знали кого-то из Горчаковых?

— В старом доме все фамилии когда-нибудь становятся знакомыми.

Эта фраза могла бы принадлежать Верещагину, но в устах Анфисы Лукиничны прозвучала иначе: не изящно, не уклончиво, а тяжело, как вещь, которую не выбирают, а несут. Она подошла к Софье и протянула руку за сумкой.

— Пойдёмте. Комната у Вас хорошая, окна на сад. Только на ночь занавески закрывайте.

— Почему?

Анфиса Лукинична чуть прищурилась.

— Зимой стекло холодное. Тянет.

Она взяла сумку, хотя Софья не успела согласиться, и направилась к двери. Верещагин проводил их до порога, но задержал Софью на мгновение.

— Отдохните после дороги. Не начинайте работу слишком быстро.

— Вы уже второй раз советуете мне не торопиться.

— Потому что в этом доме торопятся только те, кто хочет быстрее уйти.

— А получается?

Он посмотрел на неё долгим, внимательным взглядом.

— Не всегда.

Коридор за дверью казался уже другим, чем несколько минут назад. Возможно, дело было в том, что дневной свет начал тускнеть, и лампы вдоль стен зажглись мягким жёлтым светом, под которым лица на старых фотографиях становились более живыми, а тени в углах — гуще. Анфиса Лукинична шла впереди быстро, несмотря на возраст, и Софья заметила, что она почти не смотрит по сторонам, как человек, выучивший каждый изгиб дома до такой степени, что мог бы пройти по нему с закрытыми глазами. Они миновали лестницу, где недавно стояла Элеонора Платоновна, прошли мимо малой гостиной, откуда доносились звуки пианино и чей-то старческий смех, затем свернули в боковой коридор с окнами на парк.

— Вы давно здесь работаете? — спросила Софья.

— Давно.

— С открытия пансионата?

— И до открытия тоже.

Софья замедлила шаг.

— То есть Вы знали усадьбу раньше?

— Я много чего знала раньше.

— Анфиса Лукинична, мне придётся задавать вопросы.

— Вам за это платят.

— Не только за это.

Пожилая женщина остановилась и повернулась к ней. Вблизи её лицо казалось ещё суше, чем издали, но глаза были ясными, внимательными, и в них не было ни деменции, ни старче-

ской рассеянности, ни готовности подчиняться директорским формулировкам. Это был взгляд человека, который видел слишком много чужой слабости, чтобы бояться чужой настойчивости.

— Вам написали письмо? — спросила она тихо.

Софья не ответила сразу.

— Почему Вы спрашиваете?

— Потому что иначе Вы бы не приехали.

— Вы знаете, кто его написал?

Анфиса Лукинична медленно перевела взгляд на окно. За стеклом темнел сад, и ветки сирени лежали на снегу, как спутанные волосы.

— В этом доме письма иногда приходят позже, чем надо.

— Это не ответ.

— Здесь редко бывают ответы, Софья Андреевна. Здесь чаще бывают вещи, которые всю жизнь лежали не на своём месте.

Она пошла дальше, и Софья последовала за ней, понимая, что старшая сестра сказала достаточно, чтобы подтвердить: письмо не было случайностью, но недостаточно, чтобы это знание можно было использовать. В конце коридора они поднялись по узкой лестнице на второй этаж, где было заметно тише. Здесь не слышалось ни музыки, ни разговоров персонала, только далёкое гудение отопления и редкие звуки из комнат: кашель, шорох, приглушённый голос телевизора, стук чашки о блюдце. Двери были пронумерованы небольшими латунными табличками. Номер двенадцать находился почти в самом конце восточного крыла.

Комната оказалась действительно хорошей: просторная, с высоким потолком, старинным шкафом, письменным столом у окна, узкой кроватью с белым покрывалом и креслом, обитым светлой тканью. Всё было чистым, удобным, тщательно нейтральным, как в дорогих местах, где уют создают не любовью, а стандартом. Окна выходили в сад. Из комнаты был виден пруд, беседка и заросли сирени у ограды, а дальше — чёрная линия леса, постепенно растворяющаяся в зимнем сумраке.

Анфиса Лукинична поставила сумку у шкафа, подошла к окну и сразу задёрнула одну из штор.

— Вы правда считаете, что от стекла тянет? — спросила Софья.

— Я считаю, что ночью не надо смотреть туда, откуда кто-то может смотреть в ответ.

Она сказала это так буднично, что Софья не сразу поняла, была ли фраза суеверием, предупреждением или старой привычкой, пережившей причину, из-за которой возникла.

— Кто?

Анфиса Лукинична разгладила край шторы.

— Те, кто не спит.

— Постояльцы?

— И они тоже.

Софья положила папку на стол и почувствовала, как в комнате, несмотря на тепло батарей, сохраняется лёгкая сырость старых стен. Этот запах невозможно было убрать: он был глубже ремонта, глубже штукатурки, глубже новой краски, и в нём чудилось что-то подземное, холодное, связанное с закрытыми помещениями, где долго не открывали окна.

— Анфиса Лукинична, — сказала она, — перед смертью постояльцы действительно говорили: «Она снова пришла за своими детьми»?

Старшая сестра стояла к ней спиной. На несколько секунд её фигура застыла у окна так неподвижно, что казалось, она не дышит.

— Говорили.

— Все четверо?

— Все, кто успел.

— А кто не успел?

Анфиса Лукинична повернулась. Лицо её было спокойно, но эта спокойность не успокаивала.

— Иногда человек умирает молча. Это не значит, что ему нечего было сказать.

Софья медленно села на край кресла. Ей вдруг стало ясно, что разговор с этой женщиной нельзя вести как обычный опрос. Анфиса Лукинична была не испуганной сотрудницей, не свидетельницей, готовой облегчить душу, и не пожилой суеверной сиделкой, которую можно расположить терпением. Она сама была частью дома, такой же несущей конструкцией, как лестницы, балки и стены; возможно, треснувшей, возможно, давно прогнившей в каком-то месте, но всё ещё удерживающей на себе тяжесть чужой тайны.

— Вы боитесь? — спросила Софья.

Сестра посмотрела на неё почти с жалостью.

— Я давно.

— Чего именно?

— Того, что память вернётся не к тем.

— А к кому должна?

Анфиса Лукинична не ответила. Вместо этого подошла к двери, проверила, как она закрывается, затем положила на стол маленький латунный ключ с биркой.

— Ужин в семь. Внизу, в белой гостиной. Если ночью понадобится помощь, кнопка у кровати. В западное крыло не ходите. Не потому, что Константин Львович велел, а потому что дом не любит, когда туда приходят раньше времени.

— Вы говорите о доме так, будто он живой.

— Нет, — сказала она тихо. — Живые хотя бы иногда умирают.

Софья не успела ответить. Из коридора вдруг донёсся звук, похожий на мягкий удар ладони по дереву, затем ещё один, и ещё, будто кто-то шёл вдоль дверей и осторожно касался каждой, не решаясь постучать. Анфиса Лукинична резко подняла голову. Её лицо изменилось так быстро, что Софья впервые увидела под старческой сдержанностью настоящий страх.

— Оставайтесь здесь, — сказала она.

— Что это?

— Проверка.

— Какая проверка?

Анфиса Лукинична уже открыла дверь, но задержалась на пороге и обернулась.

— Перекличка.

Она вышла в коридор, прикрыв за собой дверь, но не до конца, и Софья, вопреки прямому предупреждению, поднялась и подошла ближе. Сквозь узкую щель был виден кусок коридора, жёлтый свет ламп и тень старшей сестры на стене. Стук повторился дальше, уже у другой двери, затем послышался слабый женский голос, такой старый и тонкий, что слова сначала нельзя было разобрать. Потом голос стал чуть громче, и Софья услышала:

— Не открывайте, дети. Пока вас не назовут, не открывайте.

Где-то в глубине коридора другая дверь скрипнула. Анфиса Лукинична произнесла что-то тихо и строго, как говорят с человеком, которого нельзя напугать ещё сильнее. Затем показалась Элеонора Платоновна Вяземская. Она стояла босиком, в длинном светлом халате, и седые волосы её были распущены по плечам. При дневном свете в холле она казалась просто очень старой женщиной с остатками былой красоты, но сейчас, в жёлтом коридорном свете, её лицо выглядело не старческим, а детски испуганным, как будто возраст был только тонкой маской, которая внезапно сползла, открыв девочку, много лет простоявшую за ней в темноте.

— Она пришла? — спросила Элеонора Платоновна.

— Нет, Элечка, — ответила Анфиса Лукинична удивительно мягко. — Никто не пришёл. Вы замёрзнете. Идёмте в комнату.

— Она считала кровати, — прошептала Вяземская. — Я слышала. Сначала у маленьких, потом у старших. А Варю опять не нашли.

Софья почувствовала, как имя Варя прошло по ней слабым холодом. Варвара. Имя из оглавления будущей истории, из письма, из той части прошлого, которую она ещё не знала, но которая, кажется, уже знала её.

Анфиса Лукинична взяла балерину под руку, но та вдруг повернула голову к двери Софьиной комнаты. Их взгляды встретились через узкую щель, и в глазах Элеоноры Платоновны появилось выражение не безумия, а узнавания, настолько ясного и мучительного, что Софья невольно сделала шаг назад.

— Ты выросла, — сказала старуха, глядя прямо на неё. — А нам говорили, что ты не выживешь.

Анфиса Лукинична резко закрыла собой обзор, но было поздно: слова уже вошли в комнату и остались в ней, как запах, который нельзя проветрить.

— Элеонора Платоновна устала, — громко произнесла старшая сестра, словно обращаясь не к Софье, а к самому дому. — Ей нужно спать.

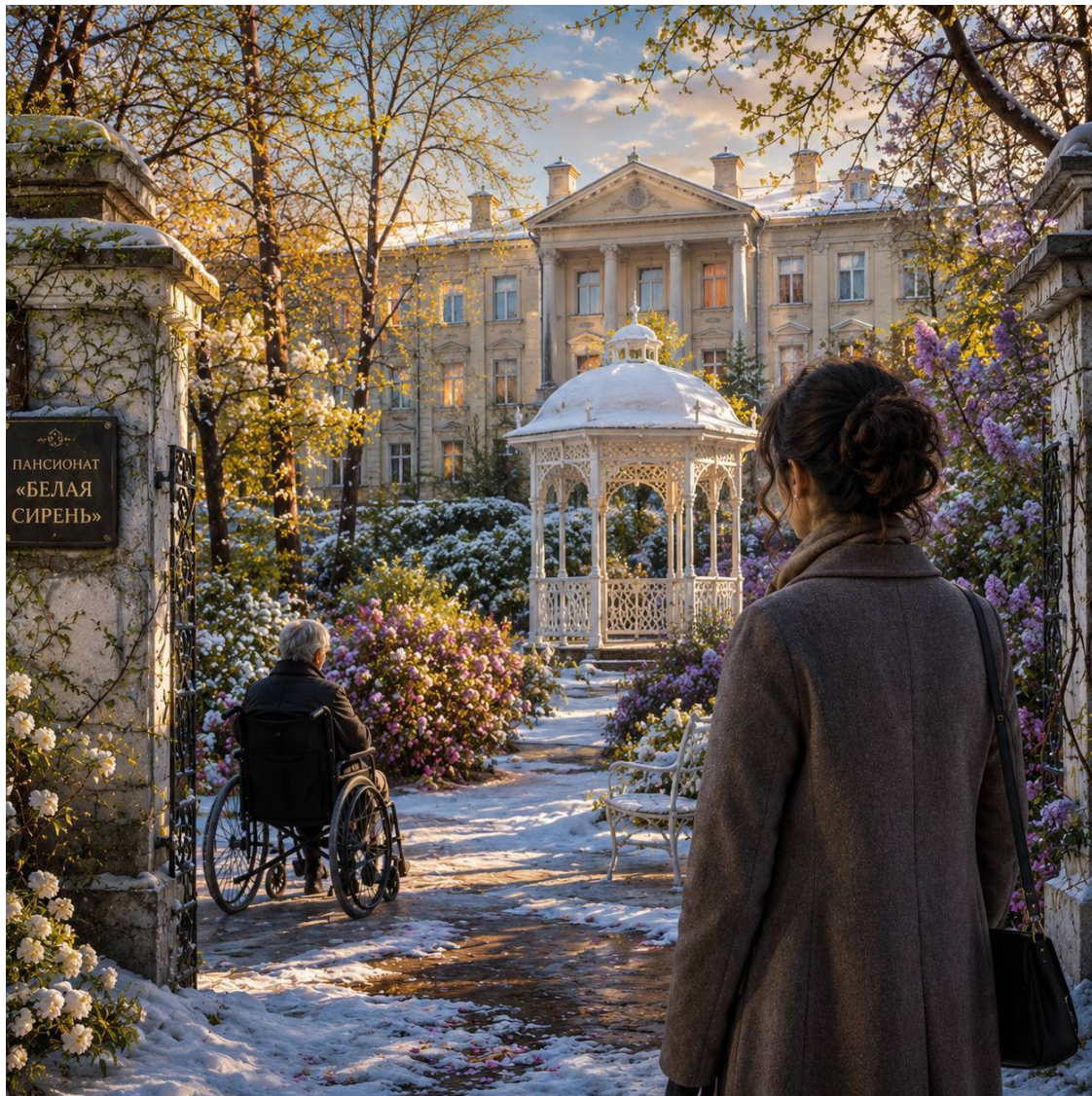
Дверь соседней комнаты закрылась, шаги удалились, коридор снова стал почти тихим. Почти, потому что где-то за стеной ещё некоторое время слышалось неясное шуршание, похожее на то, как ребёнок водит ладонью по обоям в темноте, считая цветы, трещины или имена, которые ему велели забыть.

Софья медленно вернулась к столу и села. Папка с письмом и бабушкиной фотографией лежала перед ней, но теперь эти предметы уже не казались началом расследования. Они казались поздними, почти беспомощными свидетельствами того, что история началась задолго до неё и, возможно, не нуждалась в её согласии, чтобы продолжиться.

Она открыла папку, достала фотографию Веры Павловны и снова посмотрела на стёртый штамп усадьбы. Затем перевернула снимок, перечитала надпись на обороте и впервые подумала не о том, что бабушка скрывала, а о том, кого она пыталась защитить своим молчанием. За окном быстро темнело. В саду у ограды мёртвые кусты сирени становились всё более похожими на толпу неподвижных фигур, и хотя штора закрывала только половину окна, Софья долго не решалась подойти и задёрнуть вторую.

Внизу, где-то под полом, под первым этажом, под всеми новыми покрытиями, свежими красками, медицинскими регламентами и спокойным директорским голосом, старый дом будто сделал первый глубокий вдох.

Глава 4. Белая гостиная



К ужину Софья Андреевна спустилась не сразу, хотя часы на каминной полке в её комнате, маленькие, бронзовые, с фарфоровым циферблатом и почти неслышным ходом, уже несколько минут показывали без четверти семь. Она успела разобрать сумку, повесить пальто в старый шкаф, где пахло лавандовым саше и сухим деревом, умыться холодной водой, переодеться в тёмное шерстяное платье, удобное и достаточно строгое, чтобы не выглядеть ни гостьей, ни проверяющей, ни человеком, который боится собственного отражения. Но больше всего времени заняло не это, а попытка привести в порядок мысли, которые после слов Элеоноры Платоновны больше не хотели выстраиваться в привычную профессиональную последовательность.

«Ты выросла. А нам говорили, что ты не выживешь».

Эта фраза никак не укладывалась в объяснение возрастной спутанностью, хотя Софья, разумеется, могла бы при желании найти и такое объяснение. Старый человек увидел незнако-

мое лицо, наложил на него образ из прошлого, воспроизвёл фрагмент травматической памяти, где кто-то когда-то выжил или не выжил, а затем тревога, вечернее время, новая обстановка и общий фон пансионата придали словам пугающую точность. Так сказала бы она сама, если бы консультировала родственников и не была вовлечена. Так она, вероятно, и скажет, если понадобится произнести что-то успокаивающее вслух. Но внутри эта формулировка не удерживалась, потому что слишком многое уже совпало в точках, где совпадения обычно начинают терять невинность: письмо без подписи, запах сирени, штамп на бабушкиной фотографии, фамилия Горчакова в странной реакции Анфисы Лукиничны, теперь ещё и взгляд старой балерины, в котором было не безумие, а узнавание.

Софья стояла у окна, не открывая штору полностью, а лишь отодвинув её край на несколько сантиметров. Сад с наступлением темноты перестал быть пейзажем и стал пространством, где взгляд не мог добраться до конца. Электрические фонари освещали только ближайшие дорожки, беседку, часть пруда и несколько старых елей, а дальше всё растворялось в густом серо-синем сумраке, из которого кусты сирени проступали ломаными чёрными линиями, похожими то на письма, то на следы судорожных пальцев на белой поверхности. Внизу, у входа, прошла сиделка с подносом, потом мужчина в тёмной куртке, возможно Павел, пересёк аллею и исчез за хозяйственным корпусом. Никаких девочек, никаких фигур у ограды, никаких невозможных цветов на снегу. Только старый сад, зима и её собственное лицо, отражённое в стекле так, будто за окном стояла ещё одна Софья, более бледная, более внимательная, уже принадлежащая этому дому.

Она закрыла штору до конца, взяла блокнот и спустилась вниз.

По дороге к белой гостиной Софья старалась запоминать расположение коридоров, не столько из практической необходимости, сколько из внутреннего сопротивления тому, как легко дом сбивал чувство направления. Восточное крыло, где находилась её комната, было светлее и тише; там пахло бельём, лекарствами и старым паркетом. Главная лестница вела к широкому холлу, откуда расходились проходы в столовую, библиотеку, медицинский кабинет и несколько гостиных. Всё было обозначено аккуратными табличками, но таблички, как это часто бывает в старых домах, не делали пространство понятнее, а только подчёркивали, что нынешние названия наложены поверх прежних, как новые ярлыки на коробки, где содержимое давно не соответствует надписи.

Белая гостиная располагалась в южной части усадьбы, рядом с зимним садом, отделённым стеклянными дверями. Когда Софья вошла, в комнате уже собрались почти все. Первое впечатление было странным: не пансионат, не медицинское учреждение, не место доживания, а салон из другого времени, куда по ошибке пригласили людей, переживших слишком много эпох и теперь вынужденных играть в цивилизованную старость под наблюдением камер и младшего персонала. Высокие потолки, лепнина, молочно-белые стены, огромная хрустальная люстра, старый рояль у окна, кресла с тонкими ножками, несколько современных мягких диванов, журнальные столики, букеты белых цветов в вазах и длинная стена зеркал, в которых отражались не только гостиная, но и тёмные стёкла зимнего сада, где за пальмами и кадками с лавром уже начиналась ночь.

Пожилые люди сидели небольшими группами, и в их неподвижности, в их осторожных жестах, в тонких кистях рук, лежащих на подлокотниках, в пледах на коленях, в серебряных головах и осунувшихся лицах было что-то одновременно беззащитное и величественное. Старость, когда она приходила к тем, кто привык властвовать, блистать, доказывать, управлять, быть нужным, не всегда смиряла; иногда она лишь снимала верхний слой, оставляя под ним голую привычку к роли. Здесь это чувствовалось особенно. Эти люди не просто старели. Они, казалось, доживали среди обломков своих прежних имён, титулов, должностей и легенд, а дом, терпеливый и внимательный, ждал, когда с них спадёт последнее.

Верещагин стоял у камина и разговаривал с высоким худым стариком в тёмно-бордовом халате, который сидел в кресле так прямо, будто кресло было не предметом отдыха, а судейским местом. Лицо старика, узкое, с сухими щеками, тяжёлыми веками и жёсткой линией рта, сохраняло следы той особой профессиональной власти, которую не уничтожают ни возраст, ни слабость тела. Даже его руки, костлявые, с синими венами, лежали на подлокотниках не беспомощно, а властно, словно он всё ещё мог одним движением остановить чужое объяснение.

Это, без сомнения, был Валериан Семёнович Сухово-Кобылин.

У окна, чуть в стороне от остальных, сидела Элеонора Платоновна Вяземская. Теперь её волосы были убраны, халат сменился на длинное тёмно-зелёное платье, на плечах лежала тонкая шаль, и во всём её облике снова появилась благородная, почти сценическая собранность. Если не знать, как час назад она стояла босиком в коридоре и спрашивала, пришла ли «она», можно было бы принять её за старую артистку, немного утомлённую вниманием к собственной легенде, но Софья уже видела другое лицо под этим лицом и потому не могла воспринимать её только как бывшую балерину.

Рядом с книжным шкафом, под лампой, сидел Аркадий Наумович Березин-Шестаков, невысокий, с большой головой, высоким лбом и взглядом человека, который всю жизнь доверял числам больше, чем людям, но под конец был вынужден признать, что люди портят любую формулу. Он держал на коленях блокнот в клетку и карандаш, изредка что-то записывал, потом зачёркивал, потом возвращался к прежней строке, будто даже светская встреча в гостиной требовала вычисления.

Раиса Глебовна Чегодаева заняла место на диване ближе всех к камину. Она была крупная, тяжёлая, в жемчужных серьгах, с идеально уложенными седыми волосами и тем высокомерным выражением лица, которое у старых людей иногда выглядит уже не гордостью, а последним способом удержать распадающуюся границу между собой и чужой жалостью. Её кресло-каталка стояло рядом, но сама она сидела на диване, видимо, с чьей-то помощью, демонстративно прямо, как женщина, которая даже немощь готова превратить в протокол.

Анфиса Лукинична стояла у двери, не принимая участия в разговоре, но её присутствие было таким заметным, что Софья сразу поняла: в этой гостиной настоящую власть распределяют не только должности и деньги. Директор мог говорить, врачи назначать, родственники оплачивать, но именно Анфиса, возможно, знала, кому ночью снились старые лестницы, кто прятал таблетки под языком, кто плакал после звонка дочери, кто просил открыть окно не от духоты, а потому что в комнате снова пахло тем, чего не должно быть.

— Софья Андреевна, — Верещагин повернулся к ней с той лёгкой улыбкой, которую умел включать без видимого усилия. — Прошу, проходите. Я как раз хотел представить Вас нашим жильцам.

Взгляды обратились к ней не одновременно. Сначала Раиса Глебовна оценила платье, лицо, возраст, манеру держаться, причём сделала это открыто, не считая нужным скрывать привычку ранжировать людей. Затем Аркадий Наумович поднял глаза от блокнота и посмотрел на Софью так, будто пытался определить, к какой категории явлений её отнести: внешняя переменная, ошибка наблюдения, дополнительное условие задачи. Элеонора Платоновна отвернулась к окну, но Софья заметила, как дрогнули её пальцы на шали. Валериан Семёнович не смотрел на неё дольше всех; он позволил директору закончить вступление и лишь после этого медленно поднял глаза, будто Софья должна была заслужить право быть замеченной.

— Коллеги, — сказал Верещагин, и это слово прозвучало странно по отношению к людям, давно не имевшим общей деятельности, кроме проживания в одном доме и приближения к одному финалу, — с сегодняшнего дня с нами некоторое время будет работать Софья Андреевна Горчакова, клинический психолог, специалист по возрастным кризисам, травматической памяти и адаптации к изменениям жизненного этапа. Она проведёт несколько бесед,

индивидуальных и групповых, чтобы помочь нам лучше понять эмоциональное состояние тех, кто в последнее время испытывает тревогу.

— Как деликатно, — произнесла Раиса Глебовна, растягивая слова с лёгкой усмешкой. — Раньше это называлось проще: приехал человек выяснить, почему старики пугают персонал.

— Раиса Глебовна, — мягко сказал Верещагин.

— Я не сказала ничего неприличного, Константин Львович. В моём возрасте вообще удобно говорить правду, потому что все списывают её на характер.

— Правда и характер редко бывают синонимами, — сухо заметил Сухово-Кобылин.

Раиса Глебовна повернула к нему голову, и на её лице появилась улыбка, которая явно пережила не один семейный обед, не одно заседание, не один приём, где люди ранили друг друга под видом светского остроумия.

— Валериан Семёнович, вы, как всегда, говорите так, будто всё ещё ведёте процесс.

— А вы, Раиса Глебовна, как всегда, отвечаете так, будто процесс уже проиграли, но протокол ещё можно подделать.

Верещагин не вмешался сразу. Возможно, такие перепалки здесь были частью вечернего ритуала, безопасной формой агрессии, которая позволяла старым людям сохранять ощущение характера. Софья тоже не стала смягчать атмосферу. Ей было важно увидеть их в естественном взаимодействии, без специально подготовленной вежливости.

— Я приехала не оценивать вас как группу и не подтверждать чьи-то опасения, — сказала она спокойно. — Мне важно понять, что именно происходит в доме и как это отражается на каждом из вас.

— В доме происходит старость, — сказал Сухово-Кобылин. Голос у него был низкий, хриловатый, но в нём сохранялась привычка к залу, к слушателям, к тому, что слова имеют вес. — Старость, Софья Андреевна, отражается на людях примерно одинаково: сначала у них отнимают власть, потом привычки, потом тело, потом память. Всё остальное — художественные украшения для тех, кто ещё не понял сути.

— А если память возвращается? — спросила Софья.

На этот раз пауза возникла не только у него. Аркадий Наумович перестал писать. Раиса Глебовна отвела глаза к камину. Элеонора Платоновна медленно повернула голову, но посмотрела не на Софью, а на зеркало за её спиной.

Сухово-Кобылин усмехнулся.

— Память ничего не возвращает. Она вымогает.

— Что именно?

— Признание, которого не заслуживает.

— Почему не заслуживает?

— Потому что всё, что не было сказано вовремя, к старости становится либо ложью, либо пошлостью.

— Это удобная позиция для человека, который всю жизнь работал с чужими признаниями.

Старик впервые посмотрел на неё с настоящим интересом. Не доброжелательным, но живым.

— Вам говорили, что вы дерзки?

— Мне чаще говорили, что я задаю неприятные вопросы.

— Это одно и то же, если собеседник умнее вас.

— А если нет?

— Тогда он отвечает.

Раиса Глебовна тихо рассмеялась, Аркадий Наумович неожиданно записал что-то в блокнот, а Верещагин, казалось, остался доволен тем, что разговор приобрёл почти светский характер. Только Анфиса Лукинична у двери стояла неподвижно и смотрела не на тех, кто говорил,

а на пустое кресло у дальней стены, стоявшее чуть в стороне, будто для человека, который ещё не пришёл.

Софья заметила это кресло. Оно было старое, с высокой спинкой, обитое выцветшей голубой тканью, и на сиденье лежал сложенный детский плед, слишком маленький для взрослого, слишком явно не принадлежащий общему интерьеру. Возможно, его оставил кто-то из персонала, возможно, это была вещь одного из постояльцев с нарушенной памятью, но в тщательно выстроенной гостиной этот плед выглядел как ошибка, на которую никто не хотел обращать внимания.

— А где Николай Александрович? — спросила Софья, не глядя на Верещагина.

Директор ответил почти сразу.

— Он ужинает в своей комнате.

— Всегда?

— Часто. Общие мероприятия его утомляют.

— Неужели вы уже добрались до Николая? — произнесла Раиса Глебовна. — Поздравляю, Софья Андреевна, вы оказались здесь меньше часа, а уже нашли главную местную икону молчания.

— Раиса Глебовна, — в голосе Верещагина впервые прозвучало предупреждение.

— Ну что вы, Константин Львович, я же не сказала ничего тайного. У нас тут, как известно, тайн нет, только медицинская конфиденциальность, семейная деликатность и историческая ценность объекта.

Аркадий Наумович поднял карандаш.

— Строго говоря, это три разные категории сокрытия информации.

— Аркадий Наумович, — устало сказала Раиса Глебовна, — вас когда-нибудь били за занудство?

— В детстве, вероятно, — ответил он после небольшой паузы. — Но я этого не помню.

Элеонора Платоновна вдруг вздрогнула, словно слово «детство» коснулось её не слуха, а кожи. Софья заметила это и пересела чуть ближе к ней, но не слишком близко, чтобы не напугать.

— Элеонора Платоновна, мы уже виделись сегодня.

Балерина посмотрела на неё с выражением почти вежливой растерянности.

— Простите, дорогая, я иногда путаю последовательность встреч. В старости жизнь становится похожа на репетицию, где все сцены перемешали, а суфлёр умер до третьего акта.

— Вы сказали мне одну фразу в коридоре.

— Я много чего говорю в коридорах. Это безопаснее, чем говорить в комнатах.

— Почему?

Она улыбнулась, и улыбка на её старом лице вдруг стала юной, кокетливой, почти неуместной.

— В комнатах стены слушают серьёзнее.

Верещагин подошёл к столу с графином воды и бокалами, словно случайно переместившись ближе к ним. Софья отметила это, но продолжила мягко:

— Вам показалось, что Вы меня знаете.

— Не показалось, — сказала Элеонора Платоновна тихо.

В гостиной снова стало тише. Даже Раиса Глебовна перестала улыбаться.

— Тогда откуда? — спросила Софья.

Балерина долго рассматривала её лицо. В этом взгляде не было ни прямого страха, ни простого узнавания; скорее мучительное усилие достать нужное слово из глубины, где оно было перевернуто, присыпано временем и чужими объяснениями. Её пальцы медленно гладили край шали, повторяя одно и то же движение.

— У вас глаза не ваши, — сказала она наконец. — То есть ваши, конечно. Простите. Я говорю как старая сумасшедшая, а мне всегда хотелось стареть красиво. Но глаза иногда переходят по наследству не от родителей, а от тех, о ком в семье запрещали спрашивать.

— Элочка, — Анфиса Лукинична произнесла это имя негромко, но в нём было предупреждение.

Элеонора Платоновна повернула голову к ней.

— Я уже не девочка, Анфиса. Меня нельзя поставить в угол.

— Я и не ставлю.

— Нет, ставите. Всех нас ставите. Только углы теперь мягкие, с кнопкой вызова и таблечкой на ночь.

Раиса Глебовна издала короткий смешок, но в нём не было веселья.

— Боже, как красиво. Элеонора, вам надо было не танцевать, а писать мемуары.

— Я пыталась. Но каждый раз, когда доходила до детства, страницы оставались пустыми.

Аркадий Наумович поднял взгляд.

— Пустота тоже является данными, если она повторяется системно.

— Ваши данные, Аркадий Наумович, однажды нас всех похоронят в таблице, — сказала Раиса Глебовна.

— Похоронят нас врачи, Раиса Глебовна. В таблице я лишь пытаюсь понять порядок.

— Порядок чего? — спросила Софья.

Математик замялся. Карандаш в его пальцах дрогнул, потом он закрыл блокнот ладонью, как школьник, которого поймали на списывании.

— Ничего существенного.

— Смертей? — уточнила она.

Верещагин поставил бокал на стол чуть громче, чем требовалось.

— Софья Андреевна, возможно, мы обсудим это завтра в рабочем порядке.

— Нет, — неожиданно сказал Аркадий Наумович. — Пусть спросит сейчас. Если человек приехал из-за смертей, странно делать вид, что её интересует меню.

Это был первый голос в комнате, прозвучавший не как светская реплика, а как настоящая усталость от общего спектакля. Математик открыл блокнот, перелистнул несколько страниц и посмотрел на свои записи с выражением почти болезненного стыда, будто расчёты, которые он вёл, были одновременно необходимыми и непристойными.

— Я не суеверен, — сказал он. — Суеверие есть ленивый способ придать хаосу смысл. Но хаос, если его долго наблюдать, иногда оказывается плохо замаскированной структурой. За последние три месяца умерли Вера Никитична Оболенская, Пётр Ильич Барятинский, Аглая Романовна Кнорринг и Михаил Осипович Танеев. Возраст, диагнозы, всё убедительно. Но порядок смертей совпадает с порядком комнат, в которых они жили в первые недели после поступления, до переселения. Не нынешних комнат, а первоначальных.

— И что это значит? — спросила Софья.

— Пока ничего. Но если наложить этот порядок на старый план этажа, получается странная последовательность.

— Какая?

Он открыл рот, но Анфиса Лукинична вдруг сделала шаг от двери.

— Аркадий Наумович.

В её голосе не было грубости, но математик замолчал мгновенно, как будто этот тон был старше его упрямства. Софья посмотрела на Анфису, потом на Верещагина, и поняла: старый план этажа — ещё одна закрытая дверь.

— Мы ужинаем, — сказал директор, возвращая себе управление комнатой. — Не думаю, что обсуждение смертей полезно для аппетита.

— В нашем возрасте, Константин Львович, аппетит зависит не от темы, а от зубов, — заметил Сухово-Кобылин. — Но я согласен: госпожа Горчакова задаёт вопросы слишком рано. Пусть сначала поймёт, куда приехала.

— А куда я приехала? — спросила Софья.

Старик посмотрел на неё долго, с неприятной, почти судебной внимательностью.

— В место, где люди платят за спокойную смерть, а получают беспокойное прошлое.

После этих слов в гостиную вошли две сиделки с подносами, и разговор на время распался на бытовые движения: кому подать бульон, кому заменить приборы, кому помочь пере-сесть ближе к столу, кому напомнить о таблетке до еды. Эта будничность после только что про-звучавших фраз была почти невыносимой. Софья наблюдала, как Раиса Глебовна раздражённо отстраняет руку сиделки, хотя сама не может уверенно подняться; как Аркадий Наумович пря-чет блокнот под салфетку, будто его могут отобрать; как Элеонора Платоновна долго смотрит в ложку, где её лицо отражается маленьким и искажённым; как Сухово-Кобылин, не глядя, принимает стакан воды с достоинством человека, которому подают не лекарство, а присягу.

Ужин был лёгким, дорогим и почти безвкусным: овощной крем-суп, рыба, тушёные овощи, компот из сухофруктов. Пансионат действительно заботился о теле своих жильцов с безупречной дисциплиной, и в этом была особая жестокость контраста: тела здесь берегли, кормили, укрывали пледами, измеряли давление, подбирали диеты, а память, если она вдруг начинала подниматься из глубины, встречали тишиной, лекарствами и фразами о возрастной тревожности.

Софья ела мало, больше слушала. Постояльцы говорили о пустяках: погоде, новом пи-анисте, плохом сне, внуках, которые обещали приехать и не приехали, о том, что в библиотеке снова пропал второй том какого-то собрания сочинений. Но в этих разговорах, как в воде под тонким льдом, всё время двигалось другое. Раиса Глебовна ненавидела упоминания о род-ственников, но спрашивала, кто сегодня звонил другим. Элеонора Платоновна спокойно гово-рила о парижских гастролях, но путала год и имя партнёра, зато при слове «приют» однажды так резко выронила ложку, что сиделка бросилась к ней раньше, чем звук успел затихнуть. Аркадий Наумович всё время считал: таблетки на подносе, шаги сиделок, паузы между уда-рами часов. Сухово-Кобылин молчал, но его молчание не было отсутствием участия; скорее он позволял другим говорить, чтобы потом вынести внутренний приговор.

Когда ужин подходил к концу, Верещагина ненадолго вызвали из гостиной. Он изви-нился, вышел, и с его уходом воздух изменился почти сразу. Не стал легче, нет, но стал менее гладким, как поверхность воды после того, как с неё сняли стеклянную крышку.

Раиса Глебовна первой нарушила молчание.

— Софья Андреевна, скажите честно, вы верите в наследственную вину?

— Это не клинический термин.

— Не уходите в профессию. Я спрашиваю не врача и не психолога. Женщину.

— Я думаю, вина не наследуется как цвет глаз. Но молчание, страх и способы оправды-вать себя действительно могут передаваться через поколения.

— Красиво, — сказала она. — Почти утешительно. Значит, если мой муж был мерзавцем, дети унаследовали не вину, а только привычку молчать за обедом.

— Вы хотите говорить о муже?

— Боже упаси. Он и живым занимал слишком много места.

Сухово-Кобылин посмотрел на неё с холодным интересом.

— Вы стали смелой, Раиса Глебовна. Или неосторожной.

— А вы всё ещё путаете осторожность с добродетелью.

— Осторожность спасает людей.

— Иногда она только помогает им прилично предавать.

Софья заметила, что Анфиса Лукинична у двери закрыла глаза, будто слышала больно знакомую интонацию. Элеонора Платоновна вдруг тихо сказала, не обращаясь ни к кому конкретно:

— Нас тоже учили быть осторожными. Не бегать по лестнице, не говорить с чужими, не открывать, если зовут не по имени. Особенно не открывать, если зовут по старому имени.

Аркадий Наумович побледнел.

— По какому старому?

Балерина посмотрела на него с неожиданной нежностью.

— Ах, Аркаша. Вы же тоже знаете. Просто вам повезло забыть аккуратнее.

Он хотел ответить, но карандаш выпал у него из пальцев и покатился по полу к пустому креслу с голубым пледом. Никто не наклонился сразу. Все смотрели, как маленький жёлтый карандаш остановился у ножки кресла, будто у какой-то невидимой границы. Софья сама не понимала, почему этот пустяк вызвал в комнате такое напряжение. Потом Элеонора Платоновна прошептала:

— Это её место.

— Чьё? — спросила Софья.

Сухово-Кобылин резко повернулся к балерине.

— Молчите, Элеонора Платоновна.

— Вы мне не прокурор.

— К счастью для вас.

— Нет, Валериан Семёнович. К несчастью для всех нас вы когда-то были именно им.

Старик побелел не старческой бледностью, а той мгновенной, опасной бледностью человека, в которого попали слишком точно. Раиса Глебовна откинулась на спинку дивана, прикрыв рот пальцами, но её глаза блестели не ужасом, а острым ожиданием, словно она давно хотела, чтобы кто-нибудь наконец произнёс это вместо неё.

И в этот момент из зимнего сада донёсся звук.

Не стук и не скрип. Скорее лёгкое шуршание листы, хотя все кадочные растения за стеклянными дверями стояли неподвижно, а за ними начиналась ночь. Затем послышалось что-то ещё, очень тихое, почти невозможное для взрослого слуха: будто маленькая ладонь провела по стеклу с той стороны, оставив на нём след.

Сиделка у двери ахнула первой. Анфиса Лукинична быстро перекрестилась, почти незаметно, движением, которое тут же спрятала в складках передника. Сухово-Кобылин, напротив, резко выпрямился, словно хотел приказать собственному телу не реагировать. Аркадий Наумович зашептал числа, совсем тихо, под нос, возможно просто считая удары сердца. Раиса Глебовна отвернулась к камину. Только Элеонора Платоновна смотрела прямо на стеклянные двери зимнего сада и улыбалась такой грустной, усталой улыбкой, будто после долгого отсутствия слышала знакомые шаги.

Софья поднялась. Никто не остановил её. Она подошла к стеклянным дверям медленно, чувствуя за спиной неподвижные взгляды, и увидела на тёмном стекле отражение гостиной: люстру, пожилые лица, белые стены, свои собственные плечи. За отражением находились растения, кадки, влажные листья, чёрные окна. Ничего больше.

Потом она заметила след на стекле.

Он был низко, примерно на высоте детской руки. Пять тонких полос на слегка запотевшей поверхности, проведённых изнутри зимнего сада или снаружи гостиной — Софья не могла понять сразу. След уже начал исчезать, растворяясь в тепле комнаты, но на несколько секунд он оставался достаточно ясным, чтобы не быть игрой света.

— У вас в зимний сад есть отдельный вход? — спросила Софья.

Анфиса Лукинична подошла к ней, но не близко.

— Есть. Со стороны парка. Но зимой его закрывают.

— Ключ?

— У Константина Львовича. И у меня.

— Кто-то мог зайти?

— Мог, — сказала она после паузы. — Если очень хотел.

— А если не хотел?

Старшая сестра посмотрела на след, который уже почти исчез.

— Тогда его могли позвать.

Софья обернулась к постояльцам. В этот момент Верещагин вернулся в гостиную, и она увидела, как его взгляд мгновенно прошёл по комнате, по лицам, по стеклянным дверям, по ней, по Анфисе Лукиничне, по пустому креслу с голубым пледом. Он понял, что что-то произошло, раньше, чем кто-либо успел ему объяснить, и это понимание было таким быстрым, что Софья окончательно убедилась: в «Белой сирени» странности не случались впервые. Они только становились труднее скрываемыми.

— Что произошло? — спросил он.

— Кто-то был в зимнем саду, — сказала Софья.

— Это невозможно.

— След на стекле был возможен.

Верещагин подошёл, посмотрел на дверь, но к этому времени отпечаток почти исчез. Осталась только влажная мутность, которую действительно можно было принять за дыхание комнаты.

— Конденсат, — сказал он. — В старых домах часто возникают температурные перепады.

Раиса Глебовна тихо рассмеялась.

— Прекрасно, Константин Львович. У нас уже и конденсат пишет детскими пальцами.

— Никто ничего не писал, — резко сказал он.

— Пока нет, — произнесла Элеонора Платоновна.

Все посмотрели на неё. Она сидела, сложив руки на коленях, и лицо её снова стало спокойным, почти ясным.

— Сначала они просто проверяют, помнишь ли ты дверь, — сказала она. — Потом начинают называть имена.

Аркадий Наумович закрыл блокнот так осторожно, будто боялся потревожить что-то между страницами.

— Какие имена? — спросила Софья.

Элеонора Платоновна посмотрела на неё и ответила не сразу. В её глазах была усталость человека, которому надоело бояться, но который ещё не научился говорить без страха.

— Настоящие.

В этот момент часы в гостиной пробили половину восьмого, хотя, как успела заметить Софья перед ужином, они должны были отставать на десять минут. Звук был глубокий, медный, расходящийся по стенам, и от него дрогнули стёкла зимнего сада. Когда последний удар затих, где-то далеко, возможно, в коридоре второго этажа, возможно, в западном крыле, а возможно, внутри самой стены, раздался слабый детский голос, певучий и тонкий, как строка из старой считалки.

Софья не разобрала слов. Никто, кажется, не разобрал. Но все в белой гостиной услышали достаточно, чтобы перестать притворяться, будто вечер проходит обычно.

Верещагин первым пришёл в себя.

— На сегодня достаточно, — сказал он. — Всем нужно отдохнуть.

Постояльцев начали разводить по комнатам. Раису Глебовну пересадили в кресло-каталку, и она позволила это с тем видом, с каким императрицы, вероятно, позволяли нести шлейф. Аркадий Наумович долго искал карандаш, пока Софья не подняла его у пустого кресла и не протянула ему; он взял карандаш с такой осторожностью, словно вещь успела побывать

не на полу, а в чужой памяти. Сухово-Кобылин прошёл мимо Софьи медленно, опираясь на трость, и задержался рядом всего на мгновение.

— Не позволяйте им сделать из вас слушательницу сказок, — сказал он негромко.

— А кем нужно быть?

— Свидетелем. Но свидетелей, Софья Андреевна, здесь не любят больше, чем призраков.

Он ушёл, не дожидаясь ответа. Элеонору Платоновну увела Анфиса Лукинична; перед выходом балерина оглянулась на пустое кресло и тихо, почти нежно сказала:

— Варенька опять не дождалась ужина.

Когда гостиная опустела, в ней остались только Софья и Верещагин. Сиделки убрали посуду в соседней комнате, за стеклом зимнего сада темнели неподвижные листья, на столе остывал чай, и весь недавний разговор уже мог бы показаться неловкой сценой, вызванной старческой тревогой, если бы не то, как директор стоял у камина, чуть опустив голову, и смотрел не на Софью, а на пустое кресло.

— Вы знали, что там будет плед? — спросила она.

— Это гостиная, Софья Андреевна. Здесь всегда есть пледы.

— Детские?

Он поднял взгляд.

— Иногда наши постояльцы привозят с собой странные вещи. Куклы, игрушки, детскую одежду, старые письма. Старость часто возвращает человека к началу.

— Чьё это кресло?

— Ничьё.

— Именно поэтому на него все смотрят?

Верещагин провёл рукой по лицу, и на мгновение его безупречная сдержанность дала трещину. Он выглядел уставшим. Не раздражённым, не испуганным, а именно уставшим так, как устают люди, годами закрывающие одну и ту же дверь, за которой кто-то каждый вечер снова начинает дышать.

— Завтра утром я покажу Вам медицинские документы, — сказал он. — Начните с них. Не с пледов, не с детских голосов и не с ассоциаций Элеоноры Платоновны.

— Вы правда думаете, что документы объяснят происходящее?

— Я думаю, что документы хотя бы не меняют показания в зависимости от освещения.

— Иногда именно документы лгут дольше всех.

Он ничего не ответил. За окнами зимнего сада снова начался снег, и его почти не было видно в темноте, только редкие белые точки появлялись на стекле и сразу таяли. Софья подошла к пустому креслу, взяла голубой плед и развернула его. Он был старый, мягкий, явно стиранный много раз, с вышивкой по краю. В одном углу, почти незаметно, нитью чуть более тёмного оттенка были выведены две буквы.

В. Г.

Софья провела пальцами по вышивке, и ей показалось, что ткань пахнет не лавандой, не лекарствами и не старым шкафом, а чем-то совсем другим: холодной спальней, воском, детским мылом и белой сиренью, которую когда-то сорвали слишком рано.

— Верните на место, — сказал Верещагин.

Его голос был тихим, но в нём впервые не осталось вежливости.

Софья посмотрела на него.

— Почему?

— Потому что некоторые вещи лучше не трогать без причины.

— А причина уже есть.

Она сложила плед обратно, но не сразу положила его на кресло. Несколько секунд они стояли друг напротив друга, и между ними было не просто несогласие специалиста и администратора, а первый ясный контур будущего противостояния. Он хотел сохранить порядок, даже

если порядок был построен на замалчивании. Она приехала из-за письма, но теперь понимала: письмо было только ключом, а замок находился глубже, в самом устройстве дома, где старики ужинали под хрустальной люстрой, пустое кресло ждало девочку с инициалами В. Г., и каждый делал вид, что не слышит, как в стенах начинается перекличка.

Когда Софья наконец положила плед на место, в зимнем саду за стеклянными дверями что-то тихо упало. Возможно, лист. Возможно, капля с рамы. Возможно, маленький предмет, который давно лежал там, где его никто не искал.

Верещагин резко обернулся, но не пошёл проверять.

И это, больше, чем все его объяснения, сказала Софье: он тоже боялся узнать, что именно произвело этот звук.

Глава 5. «Она снова пришла за своими детьми»



Ночь в «Белой сирени» не наступала сразу, как это бывает в городских квартирах, где достаточно закрыть шторы, погасить верхний свет и позволить комнате стать частной, отделённой от улицы тонким стеклом и привычной уверенностью, что за стеной живут другие люди. Здесь ночь входила медленно, с осторожной хозяйской настойчивостью, будто не приходила снаружи, а поднималась изнутри дома: из подвалов, из щелей старого паркета, из глубины лестничных пролётов, из тёмных стёкол зимнего сада, где листья неподвижно блестели в отражении ламп, похожие на влажные ладони, приложенные к стеклу.

После ужина Софья Андреевна ещё некоторое время оставалась в белой гостиной, хотя разумно было бы подняться к себе, зафиксировать первые наблюдения, отделить факты от впечатлений и дать телу хотя бы иллюзию отдыха. Но она давно знала: в незнакомом доме самое важное часто происходит не во время официальной беседы, а в промежутках, когда люди думают, что уже сказали всё необходимое, когда персонал начинает двигаться свободнее, когда пожилые постояльцы перестают держать лица для чужого взгляда, а стены, насыщенные дневным теплом, начинают отдавать накопленные за годы запахи. Она сидела в кресле неподалёку от пустого места с голубым пледом и делала вид, что просматривает блокнот, хотя на самом деле слушала.

Сначала дом был наполнен обыкновенными звуками учреждения, живущего по расписанию: в коридоре катили тележку с посудой, где-то мягко закрылась дверь лифта, сиделка

вполголоса уговаривала кого-то принять вечерние таблетки, из малой гостиной донёсся обрывок старого романса, который кто-то включил слишком тихо, чтобы он мог стать музыкой, но достаточно отчётливо, чтобы в нём появилось воспоминание. Затем звуки начали исчезать один за другим, не сразу, а как гаснут окна в большом доме, где у каждого жильца своё представление о том, когда можно оставить день. И чем тише становилось вокруг, тем сильнее выделялись другие шумы: едва заметный треск старого дерева под новыми панелями, долгий вздох труб, движение воздуха в вентиляции, сухое потрескивание камина, который уже не горел, но ещё помнил огонь.

Верещагин ушёл почти сразу после того, как сиделки увели постояльцев. Его вызвали по телефону, и он, извинившись, произнёс несколько сдержанных фраз о завтрашнем расписании, но перед уходом задержался у двери и посмотрел на Софью так, будто собирался что-то сказать не как директор, а как человек, уже понимающий, что формальные запреты здесь не сработают. Однако он промолчал. В этом доме, подумала она, вообще слишком много людей предпочитали молчание не потому, что им нечего было сказать, а потому, что каждое слово могло открыть больше, чем они готовы были выдержать.

Анфиса Лукинична появилась через несколько минут после его ухода. Она вошла беззвучно, как входят люди, привыкшие не будить больных, не пугать стариков и не становиться частью чужих ночных страхов. В руках у неё был небольшой поднос с чашкой чая и стаканом воды. Она поставила его на столик рядом с Софьей, поправила голубой плед на пустом кресле, причём сделала это с такой осторожностью, как будто укрывала не вещь, а отсутствующего ребёнка, и только потом посмотрела на гостью.

— Вам лучше подняться, — сказала она. — Первые ночи здесь редко бывают спокойными.

— А вторые?

— Вторые бывают честнее.

Софья закрыла блокнот.

— Анфиса Лукинична, кому принадлежал этот плед?

Старшая сестра не отвела взгляда, но в лице её появилось едва заметное сопротивление, знакомое Софье по пациентам, которые уже решили, что говорить будут, но ещё не готовы сделать первый шаг в собственный рассказ.

— Старой вещи не обязательно кому-то принадлежать сейчас.

— На нём инициалы. В. Г.

— В этом доме у многих были инициалы.

— Варвара Горчакова?

Анфиса Лукинична посмотрела на неё так резко, что даже морщины на её лице будто стали глубже. Не страх, не удивление, а мгновенное узнавание опасности, как если бы Софья назвала не имя, а пароль к запертой комнате.

— Откуда вы взяли это имя?

— Пока ниоткуда. Я предполагаю.

— Не предполагайте вслух. Здесь это слышат лучше, чем молитвы.

— Кто слышит?

— Те, кому давно пора было бы оставить нас в покое, если бы покой вообще был возможен после того, что люди делают друг с другом.

Она сказала это почти спокойно, но в словах была усталость настолько старая, что Софья вдруг подумала: Анфиса Лукинична не просто хранит тайну; она прожила рядом с ней слишком долго и теперь уже не отделяет свою жизнь от обязанности молчать. Такие люди редко становятся главными виновниками, но часто оказываются единственными, кто мог бы вовремя остановить катастрофу и не остановил, потому что послушание, страх, привычка или позднее раскаяние оказались сильнее.

- Вы знали девочку по имени Варвара? — спросила Софья.
- Я не настолько старая, — сухо ответила Анфиса Лукинична.
- Но Вы знаете о ней.
- О многих здесь знают понаслышке. Старые стены любят слухи.
- Вы опять говорите о доме как о живом.
- А вы опять делаете вид, что не понимаете, зачем приехали.

Софья медленно положила блокнот на колени. В гостиной было тепло, но по коже прошёл холод, не внешний, а тот, что появляется в разговоре, когда собеседник вдруг отказывается от безопасной игры и касается места, которое оба старались обходить.

- Тогда скажите мне, зачем я приехала.

Анфиса Лукинична повернулась к зимнему саду. За стеклянными дверями было темно, только листья кадочных растений местами отражали свет люстры, и в этих отражениях казалось, будто там, за стеклом, стоят не растения, а кто-то неподвижный и очень терпеливый.

— Вас позвали, потому что фамилии иногда возвращаются туда, откуда их вынесли, — сказала она наконец. — Но это не значит, что человек готов узнать, кому она принадлежала до него.

Софья не успела ответить. В глубине дома раздался звонок — короткий, приглушённый, не похожий на телефонный и всё же явно электрический. Анфиса Лукинична выпрямилась, и лицо её снова стало рабочим, собранным, почти бесстрастным.

- Третья комната, — сказала она скорее себе, чем Софье.
- Что случилось?
- Вызов с кровати. Валериан Семёнович.
- Она уже направилась к двери, но Софья поднялась вместе с ней.
- Я пойду с вами.
- Не нужно.

— Я приехала работать с постояльцами, которые испытывают тревогу. Если он нажал кнопку ночью после всего, что произошло за ужином, это касается моей работы.

Анфиса Лукинична остановилась. Несколько секунд она смотрела на Софью так, будто взвешивала не профессиональные аргументы, а то, насколько быстро новый человек всё равно попадёт туда, куда дом намерен его привести. Затем коротко кивнула.

— Только не перебивайте его, если он начнёт говорить. И не верьте сразу, если он скажет, что всё забыл.

Они вышли из белой гостиной в коридор, где уже горел ночной свет. Днём и вечером пансионат старательно производил впечатление дорогого, тщательно организованного места: мягкие ковры, живые цветы, картины, бра на стенах, ненавязчивые камеры наблюдения в углах, почти невидимые кнопки вызова персонала. Ночью же вся эта современная оболочка истончалась. Коридоры казались длиннее, потолки выше, двери глуше, а картины на стенах — темнее, чем днём. Каждый поворот воспринимался не как часть планировки, а как решение, и Софья впервые поняла, почему пожилые люди здесь могли путать комнаты и времена: дом сам неохотно признавал, что подчиняется нынешней карте.

Третья комната находилась в южном крыле, ближе к лестнице, ведущей к библиотеке. Дверь была приоткрыта, изнутри падал жёлтый свет ночника. Анфиса Лукинична постучала костяшками пальцев, но ответа не дождалась и вошла первой.

Валериан Семёнович Сухово-Кобылин сидел на кровати, опираясь обеими руками на набалдашник трости, хотя трость, по логике, должна была стоять у тумбочки, а не лежать поперёк его колен, словно оружие. Он был в тёмном халате поверх пижамы, седые волосы растрепались, лицо осунулось, но даже в этом ночном, почти беспомощном виде он сохранял ту тяжёлую власть, которая у некоторых людей оказывается не социальной ролью, а способом удерживать себя от распада. На тумбочке стоял стакан воды, нетронутый; рядом лежали

таблетки в маленькой пластиковой чашке. Окно было закрыто, штора задёрнута наполовину, и в комнате пахло лекарствами, старой кожей, табаком, которым здесь давно не могли пахнуть вещи, если только запах не въелся в них за предыдущие десятилетия, и ещё чем-то слабым, сладким, знакомым.

Сиренью.

— Валериан Семёнович, — сказала Анфиса Лукинична тем особым тоном, в котором забота не отменяла строгой власти. — Что случилось?

Он посмотрел сначала на неё, потом на Софью. Взгляд его был ясным, слишком ясным для человека, которого можно было бы списать на спутанность.

— Я не звал психолога.

— Кнопку нажали вы.

— Я звал живого человека, а не протокол.

— Тогда я правильно пришла, — сказала Софья.

Старик усмехнулся, но усмешка получилась сухой, почти болезненной.

— Вы быстро учитесь здешним ответам.

— Вы просили помощи?

— Я просил закрыть дверь.

Анфиса Лукинична подошла к двери и закрыла её плотнее, но не до конца; оставила щель, через которую в комнату проникала тонкая полоска коридорного света. Сухово-Кобылин заметил это и раздражённо стукнул тростью по полу.

— До конца.

— Валериан Семёнович, по правилам ночного ухода дверь остаётся приоткрытой.

— К чёрту ваши правила.

— Правила нужны, чтобы ночью все остались живы.

Он поднял на неё глаза, и в них мелькнуло такое выражение, что Софья на мгновение перестала быть наблюдателем. Взгляд старика был не сердитым и не старчески капризным; в нём был страх человека, который всю жизнь не позволял себе бояться и потому сейчас переживал страх как унижение, почти как физическое насилие над собственной личностью.

— Закройте, — произнёс он тихо. — Она считает открытые двери.

Анфиса Лукинична застыла. Софья увидела, как её рука, уже лежавшая на ручке, медленно сжалась.

— Кто? — спросила Софья.

Старик повернулся к ней резко.

— Не начинайте свои приёмы.

— Я спрашиваю не как психолог. Как человек, который стоит в комнате и слышит, что Вам страшно.

— Мне не страшно.

— Тогда зачем закрывать дверь?

Он молчал. Упрямое лицо, сложенное из дисциплины, гордости, старой власти и привычки презирать слабость, медленно теряло защитную неподвижность. Софья не торопила его. В пожилых людях, особенно в тех, кто всю жизнь занимал высокое положение, сопротивление часто держалось не на отсутствии правды, а на страхе произнести её в форме, где они сами будут выглядеть не судьями, а свидетелями, не теми, кто задаёт вопросы, а теми, кому наконец задают.

— Перед смертью Вера Никитична просила закрыть дверь? — тихо спросила она.

Сухово-Кобылин посмотрел на неё исподлобья.

— Откуда вы знаете?

— Не знаю. Пытаюсь понять.

— Она стучала всю ночь, — сказал он после паузы, и голос его стал глуше. — Не Вера. Другая. По дверям. Сначала у Оболенской, потом у Барятинского, потом у Кнорринг. Я слышал. Все слышали. Просто эти трусы сделали вид, что нет.

— Кто стучал?

— Та, о ком все здесь шепчут, когда сиделки думают, что старики спят.

Анфиса Лукинична подошла к тумбочке, взяла стакан воды, но он отстранил её руку.

— Валериан Семёнович, — сказала она тихо, — не надо сегодня.

— Почему? Потому что у нас появился специалист по памяти? Так пусть слушает. Она приехала слушать, пусть слушает, как взрослые люди превращаются в детей только потому, что какой-то дом решил открыть пасть перед смертью.

— Вы видели её? — спросила Софья.

Старик медленно повернул голову к окну. Штора там была задёрнута неровно, и в узкой щели между тканью и рамой виднелась темнота сада.

— Нет. Я не идиот и не мистик. Я никого не видел.

— Но слышали?

— Я слышал, как в коридоре называли имена.

— Какие имена?

— Не наши.

— Детские?

Он закрыл глаза. Морщины вокруг рта углубились, словно он сжал зубы так сильно, что боль прошла по всему лицу.

— Сначала я решил, что это Вяземская. Она любит свои театральные приступы. Потом подумал на Чегодаеву, у неё характер такой, что она и умирать будет с интригой. Потом на этого математика, он вечно бормочет по ночам, будто складывает трупы в столбик. Но голос был не их.

— Женский?

— Детский.

Софья услышала, как Анфиса Лукинична поставила стакан на тумбочку слишком осторожно, стараясь не звякнуть. Старшая сестра явно знала этот рассказ или какую-то его версию, но боялась не содержания, а того, что именно сейчас, при Софье, он начнёт приобретать форму.

— Что сказал голос?

Сухово-Кобылин открыл глаза. Теперь он смотрел не на Софью, а куда-то мимо неё, в то место комнаты, где свет ночника не доставал до угла.

— «Третий проснулся». Потом: «Третий не открыл». Потом засмеялась.

— Это было сегодня?

— Сегодня. И вчера. И в ночь перед смертью Танеева. Он потом весь день твердил, что его простили не того.

— Не за то?

— Нет. Не того. Именно так. «Меня простили не того». Чушь, конечно.

— Вы уверены, что чушь?

Он резко поднял голову, и в старом лице на мгновение проступил прежний прокурор, привыкший, что сомнение принадлежит ему, а не собеседнику.

— Я уверен, что человек перед смертью может говорить любую чушь.

— Особенно если всю жизнь говорил только то, что было безопасно?

Его рука на трости дрогнула. Софья поняла, что сделала шаг слишком близко к чему-то личному, но иногда в работе с сильным сопротивлением мягкость превращается в ещё одну форму соучастия. Она не хотела ломать его, но должна была понять, что именно защищает этот старик так яростно.

— Вы знаете, почему они говорили эту фразу, — сказала она. — «Она снова пришла за своими детьми».

— Я знаю только, что люди любят придавать смерти смысл, потому что иначе придётся признать, что тело просто сдаёт.

— А Вы? Вы придаёте смысл?

— Я занимался фактами.

— И что факты говорят сейчас?

Он усмехнулся, но глаза оставались тяжёлыми.

— Факты говорят, что четыре старых человека умерли от болезней, которые давно должны были их убить. Всё остальное — бред, расплывшийся по дому из-за слабых нервов, старых сплетен и дурного управления.

— Тогда зачем Вы вызвали Анфису Лукиничну?

Сухово-Кобылин не ответил. За окном вдруг что-то тихо скользнуло по стеклу. Не уда-рило, не стукнуло, а именно скользнуло, будто по наружной стороне провели мягкой тканью или ладонью. Все трое одновременно повернулись к окну.

Штора оставалась неподвижной.

— Ветки, — сказал старик слишком быстро.

— У окна нет дерева, — произнесла Анфиса Лукинична.

Софья подошла к окну, но не стала сразу отодвигать штору. Она почувствовала на себе взгляд Сухово-Кобылина, полный злости и ожидания, а ещё взгляд Анфисы Лукиничны, в котором было почти молчаливое прошение не делать этого. Психологическая часть её сознания отмечала: если сейчас открыть штору и ничего не обнаружить, старик получит формальное подтверждение своей рациональной защиты, но страх никуда не исчезнет; если обнаружится след, тень, фигура, любой неопределённый стимул, дом получит ещё одну власть над всеми присутствующими. В обоих случаях выиграет не истина, а напряжение.

Она всё-таки отодвинула край ткани.

За окном была ночь, снег, дальний жёлтый свет фонаря и тёмные кусты сирени внизу. С высоты третьей комнаты — она располагалась на первом этаже, но цоколь усадьбы был высоким — никакая человеческая ладонь не могла дотянуться до стекла без лестницы. На стекле не было отпечатка, только тонкая полоса влаги, медленно сползающая вниз. Возможно, конденсат. Возможно, растаявшая снежинка. Возможно, всё, что угодно.

И всё же запах сирени стал сильнее.

— Закройте, — сказал Сухово-Кобылин.

Софья закрыла штору.

— Валериан Семёнович, — произнесла она, возвращаясь к кровати, — Вы сказали, что слышали имена. Вы можете назвать хотя бы одно?

Он смотрел на штору ещё несколько секунд, потом медленно опустил глаза на свои руки. Софья заметила, что пальцы у него белые от напряжения.

— Нет.

— Не можете или не хотите?

— Не имею права.

Эти слова прозвучали так неожиданно, что даже Анфиса Лукинична посмотрела на него с открытым удивлением. Не «не помню», не «не знаю», не «не стану». Не имею права. Формулировка человека, для которого запрет был юридической, нравственной или внутренней категорией, пережившей все внешние основания.

— Кто дал Вам этот запрет? — спросила Софья.

Он медленно поднял на неё глаза. Взгляд стал мутнее, но не от болезни; скорее от усилия удержаться на границе между прошлым и настоящим.

— Однажды, — сказал он, — я видел дело, которого не должно было существовать. В нём не было трупов. Не было обвиняемых. Не было даже потерпевших, потому что потерпевших, если верить документам, вообще никогда не было. Были только фамилии. Старые, новые, вычеркнутые, приписанные поверх, восстановленные по решению суда, изменённые «в интересах ребёнка». Тогда мне сказали, что иногда государство должно быть милосерднее истины.

— Кто сказал?

— Человек, который умер достаточно давно, чтобы вы не смогли задать ему этот вопрос.

— Это дело было связано с усадьбой?

Сухово-Кобылин закрыл рот, будто понял, что сказал слишком много. Старческий страх исчез, уступив место профессиональной осторожности, почти привычной.

— Я устал.

Анфиса Лукинична тут же воспользовалась этой возможностью.

— Вам нужно принять лекарство.

— Нет.

— Да, Валериан Семёнович.

— Я сказал нет.

— А я сказала да.

И в этой короткой перепалке было столько давно устоявшейся близости, что Софья вдруг увидела их отношения иначе. Анфиса не была для него просто сестрой, а он не был для неё просто капризным постояльцем. Между ними существовала история, возможно, не личная в привычном смысле, но связанная общей тайной, где забота и раздражение, вина и зависимость, страх и привычка смешались так давно, что уже не поддавались разделению.

— Если я усну, она придёт, — сказал старик тише.

— Если вы не уснёте, придёт врач с давлениемером, — ответила Анфиса Лукинична. — И это будет хуже.

Он неожиданно коротко рассмеялся. Смех был хриплым, почти чужим, но на секунду вернул его в настоящее. Он позволил ей подать таблетки, выпил воду, потом откинулся на подушки, и усталость сразу проступила на его лице так сильно, что Софья почти физически ощутила, как тяжело пожилому человеку держать оборону против собственного страха.

— Софья Андреевна, — произнёс он, когда Анфиса поправляла одеяло, — вы завтра будете задавать мне вопросы.

— Да.

— Не начинайте с приюта.

— Почему?

— Потому что тогда я совру.

— А с чего начать, чтобы Вы не соврали?

Он долго смотрел на неё из-под тяжёлых век.

— С фамилий. Фамилии лгут хуже людей.

Анфиса Лукинична резко повернулась к нему, но он уже закрыл глаза. Несколько секунд казалось, что он уснул мгновенно, как иногда засыпают очень старые люди, проваливаясь в сон не постепенно, а будто кто-то выключает в них свет. Потом он вдруг прошептал, не открывая глаз:

— И закройте дверь. Она считает тех, кто оставляет щель.

Анфиса Лукинична ничего не сказала. На этот раз, выходя из комнаты вместе с Софьей, она закрыла дверь до конца.

В коридоре было пусто. Ночной свет ложился на стены длинными тёплыми пятнами, за которыми углы казались ещё глубже. Где-то далеко работала посудомоечная машина, тихо звякали тарелки, и этот бытовой звук странным образом усиливал тревогу, потому что доказывал: жизнь учреждения продолжается, несмотря на всё, что в нём происходит. Люди убирают после

ужина, стирают бельё, проверяют график лекарств, отмечают давление, закрывают окна, а в это время старики слышат детские голоса и боятся открытых дверей.

Анфиса Лукинична шла молча до самого поворота, потом остановилась у окна, выходящего на внутренний двор. Снаружи снег падал гуще, чем раньше, и в свете фонаря казался не снегом, а пеплом.

— Вы слышали достаточно на сегодня, — сказала она.

— Нет. Я услышала только начало.

— Начало было не сегодня.

— Тогда помогите мне понять, где оно.

Анфиса Лукинична медленно повернулась к ней. В её лице снова появилось то выражение, которое Софья уже видела раньше: не страх перед вопросом, а страх перед тем, что ответ, возможно, наконец будет дан.

— Не просите меня об этом ночью.

— Почему?

— Ночью в этом доме слова быстрее находят тех, кому предназначены.

— Вы верите, что мёртвые слышат?

— Я верю, что живые слишком часто говорят за мёртвых, пока однажды мёртвым не приходится самим напомнить, что они были.

Софья не стала спорить. В её профессии было много людей, которые объясняли боль через мистику, религию, судьбу, родовые проклятия, карму, знаки, и она всегда старалась услышать за этими словами не систему верований, а структуру травмы. Но здесь всё было сложнее. Анфиса Лукинична говорила не как суеверный человек, а как свидетель, которому рациональное объяснение давно не помогло жить легче.

— Валериан Семёнович упомянул дело, которого не должно было существовать, — сказала Софья. — Вы знаете, о чём он?

— Валериан Семёнович много чего упоминает, когда боится.

— Он боится не призраков.

— Никто здесь не боится призраков, Софья Андреевна. Призраки были бы даже милосердны. У них хотя бы есть право быть мёртвыми.

— А кого боятся здесь?

Анфиса посмотрела в сторону лестницы, ведущей вниз.

— Тех, кто выжил.

Она снова пошла, и Софья поняла, что разговор окончен. Они поднялись на второй этаж почти молча. У дверей комнаты номер двенадцать Анфиса Лукинична остановилась, достала из кармана связку ключей и несколько секунд перебирала их пальцами, хотя дверь Софьи не требовала ключа снаружи.

— Если ночью услышите, что Вас зовут, не отвечайте сразу, — сказала она.

— Даже если это персонал?

— Персонал постучит и назовёт себя.

— А если назовут меня?

— Особенно тогда.

Софья встретила её взгляд. В коридорном свете глаза Анфисы казались почти чёрными.

— Почему?

— Потому что имя — это не всегда обращение. Иногда это проверка.

Она ушла, не попрощавшись, и Софья осталась одна перед своей дверью. Некоторое время она стояла неподвижно, слушая удаляющиеся шаги старшей сестры, потом вошла в комнату и закрыла дверь. На этот раз — до конца.

В комнате всё было так, как она оставила: папка на столе, сумка у шкафа, одна штора задёрнута, другая наполовину открыта, мягкий свет лампы у кровати. Однако после визита

к Сухово-Кобылину привычные предметы казались не вещами, а временными свидетелями, которым вскоре тоже придётся дать показания. Софья подошла к столу, открыла блокнот и начала записывать не выводы, а факты, потому что факты пока были единственным способом удерживать себя в той части реальности, где вещи можно назвать и расположить по порядку.

Четыре смерти за три месяца. Одинаковая фраза перед смертью. Детский голос в коридоре, слышанный Сухово-Кобылиным. Страх открытых дверей. Имена, которые он «не имеет права» назвать. Дело без потерпевших. Фамилии как ключ. Реакция Анфисы на имя Варвара Горчакова. Инициалы В. Г. на детском пледе. Запах сирени в нескольких местах дома. Западное крыло закрыто. Николай Александрович изолирован. Верещагин не удивляется, только контролирует.

Она перечитала написанное и вдруг почувствовала, что весь список выглядит как карта, на которой обозначены не места, а провалы. Каждая строка вела не к ответу, а к пустоте, где кто-то заранее уничтожил мост. И всё же эта пустота имела форму. Фамилии. Дети. Приют. Подмена. Свидетели. Старики, которые на пороге смерти слышат не зов Бога, не голос родственников, не музыку прошлого, а женщину, пришедшую считать кровати.

Софья достала из папки бабушкину фотографию и положила рядом с блокнотом. Вера Павловна смотрела куда-то в сторону, как и всегда, но теперь Софье казалось, что её взгляд направлен не мимо фотографа, а именно туда, за пределы кадра, где стоял старый дом. На обороте снимка всё та же фраза — «Не спрашивай у мёртвых то, что побоялись сказать живые» — вдруг перестала казаться странной семейной сентенцией и стала почти инструкцией.

Она сидела над фотографией долго, пока в коридоре окончательно не стихли шаги, пока отопление не перешло на более тихий ночной режим, пока снег за окном не превратил сад в размытое белое пятно. Потом, уже собираясь лечь, Софья услышала звук у своей двери.

Не стук. Не царапанье. Очень лёгкое касание, будто кто-то провёл пальцами по дереву на уровне детского роста.

Она не двинулась. Сердце ударило сильнее, но тело осталось неподвижным; годы работы с чужой паникой научили её сначала слушать, а потом реагировать. Звук повторился. Один раз. Потом ещё. Вежливо, терпеливо, почти ласково.

Софья посмотрела на дверь.

— Кто там? — едва не сказала она, но слова Анфисы Лукиничны всплыли в памяти так ясно, будто старшая сестра всё ещё стояла рядом: если ночью услышите, что Вас зовут, не отвечайте сразу.

За дверью было тихо.

Потом оттуда, из коридора, из узкой темноты между комнатами, донёсся голос. Детский, приглушённый, не плачущий и не смеющийся, а будничным, будто ребёнок выполнял поручение, которое ему давно велели повторять.

— Софья Андреевна Горчакова, — сказал голос. — Тебя забыли записать.

Она не подошла к двери. Не включила верхний свет. Не позвала персонал. Только сидела за столом, держа ладонь на бабушкиной фотографии, и чувствовала, как в комнате медленно, почти нежно, раскрывается запах белой сирени.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.